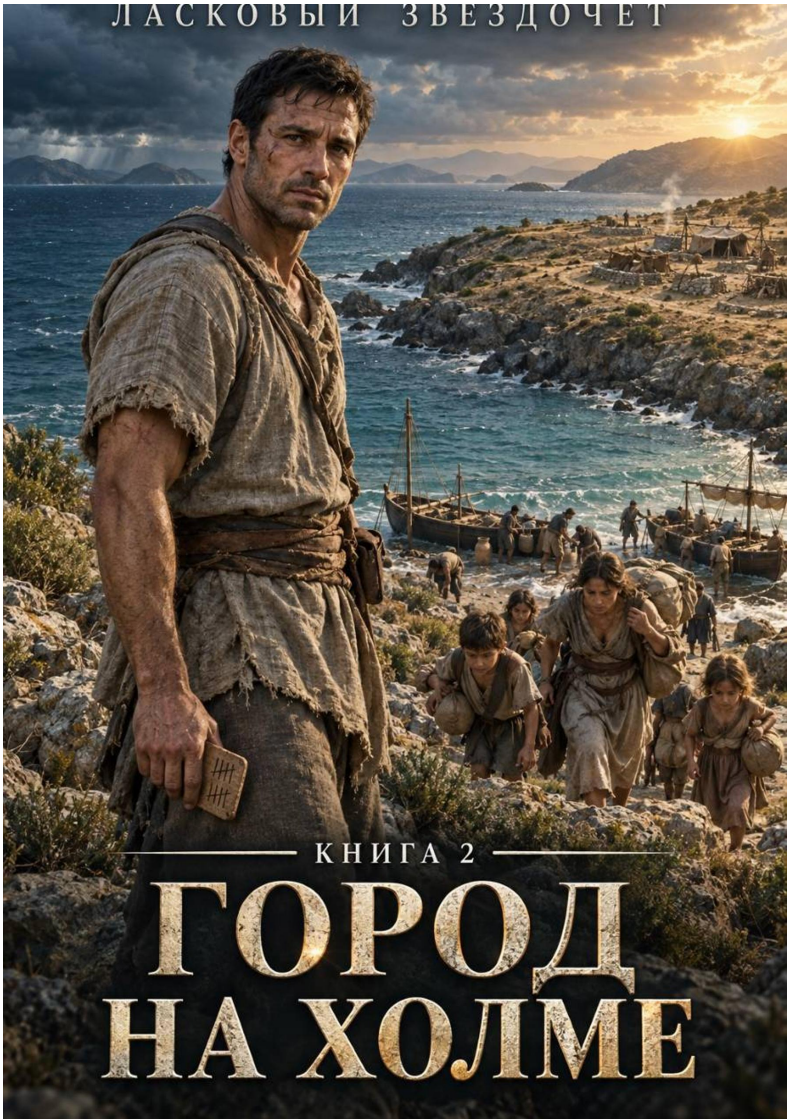
ЛАСКОВЫЙ ЗВЕЗДОЧЕТ
КНИГА 2
ГОРОД НА ХОЛМЕ

Ласковый Звездочёт
Город на холме. Книга 2

https://litres.ru/74695632
SelfPub; 2026

Аннотация

Боевой пловец.

Офицер разведки в запасе.

Гражданский контракт: ночное обследование странной гидроакустической аномалии в Эгейском море. Последнее погружение. В обоих смыслах.

Он приходит в себя на берегу, которого нет ни на одной карте. Солнце стоит высоко — а в воду он вошёл в двадцать три сорок.

Это первое, что не сходится, и он не позволяет себе на это смотреть. После кислородного голодания мозг врёт первым, а тело вторым, поэтому сначала счёт: пальцы, кисти, локти, шея, колени, ступни.

Потом — вслух, полностью, по форме: Корсаков Глеб Андреевич. Военно-морской институт, Санкт-Петербург, выпуск две тысячи двенадцатого. Северный флот, Полярный. Позывной «Корсак». Капитан третьего ранга.

Всё сошлось. Не сошёлся только мир вокруг.

Двенадцать лет службы никуда не делись — они и вытащат его с этого берега живым. Но звания здесь нет, флота здесь нет, и человека по имени Корсаков здесь тоже нет.

В каждой главе приводит фрагмент уникальных знаний, которые помогли ему выжить.

Ласковый Звездочёт
Город на холме. Книга 2

Глава 1. Шесть кусков меди

Зерна на Саринте оставалось до конца января.

Я пересчитал это трижды, тремя разными способами, и все три раза получил одно и то же, и последний раз — на рассвете того дня, когда мы уходили, сидя на камне над бухтой и глядя, как Пиясса грузит воду.

Сто восемьдесят три человека. Из них семьдесят с небольшим — дети и старики, которые едят меньше, но всё равно едят. Ячменя после пожара осталось меньше половины того, что было собрано, а собрано было меньше половины того, что обычно. Коз зарезали половину ещё до боя. Рыба — не еда, рыба добавка, и я это выучил накрепко.

Считалось так.

При нынешней выдаче остатка хватало до конца января.

Если резать вдвое — и резать не с февраля, а с этого дня, — до середины марта. Не до конца мая, как вышло бы, если просто растянуть остаток вдвое: половину острова резать нельзя. Детей, больных и тех, кто гребёт, носит воду и чинит обвод, надо кормить как кормили, иначе через месяц они не гребут, не носят и не чинят, и тогда экономия съедает сама себя.

Если резать втрое и начать умирать — до апреля.

А новый ячмень встанет не раньше конца мая.

Четыре месяца дырки.

Я посчитал, сколько нужно привезти, чтобы её закрыть, и получил число, от которого мне стало смешно. Потом посчитал, сколько за это придётся отдать, и перестал смеяться.

Шесть кусков меди.

Больше у нас не было ничего.

Их вынули из носового отсека чужой варды на другой день после боя, вывалили во дворе при огне, и весь Саринт ахнул одним общим выдохом — так ахают люди, увидевшие слишком много денег сразу. Плоские, с ладонь, красноватые, с зеленью в углублениях. Тяжёлые.

Я взвесил каждый на руке. Килограмма по три, может, по три с половиной. Итого около двадцати.

Двадцать килограммов меди — это на Саринте состояние, которого никто из живущих не видел. Это двадцать кинжалов при том, что на острове их было три. Это то, ради чего Кассо прыгнул в воду и утонул, и ради чего предводитель людей с моря не отдал мне пояс и захлебнулся на глубине по грудь.

Круг старших делил трофеи девять дней. Сети, горшки, инструмент, двух коз, обсидиан — всё разошлось по дворам, и спорили до хрипоты, и я в этом не участвовал.

Медь не тронули.

Её не тронули не потому, что были благородны, а потому, что двадцать килограммов меди нельзя съесть, а зиму

надо было пережить. Это сообразил каждый в отдельности и никто не сказал вслух, и решение приняли тем самым способом, каким тут принимают все решения: перестали возражать.

Шесть кусков увязали в шкуру, шкуру уложили в мешок, мешок я всю дорогу держал между ступнями.

Вышли из Каллы в восьмом часу.

Лодка Пияссы брала четырнадцать вёсел, и на вёслах сидели шестеро его людей, потому что против сменившегося ветра идти всё равно приходилось в четверть силы. Нас было четверо: я, Тисса, Тавво и Вирро.

Мыс Кунда закрыл бухту на десятой минуте.

Я это отметил, потому что отмечаю такое всегда, и потому что на берегу оставалось сто с лишним человек, и я знал по имени сто семьдесят из ста восьмидесяти трёх, и в тот момент мне было важно знать, сколько именно минут они меня видели.

Десять.

За эти десять минут я успел рассмотреть берег, и рассматривал я его так, как рассматривают то, к чему не собираются возвращаться, — жадно и по частям.

Кинт стоял по щиколотку в воде. Копьё было при нём — то самое, с медным наконечником и четырьмя заклёпками, которое он однажды подал мне на двух ладонях, а вчера не подал, и это было правильно, и мы оба знали, что это правильно.

Выше, на сухой гальке, на разложенной шкуре сидел Акар. Его вынесли четверо. Он сидел, опираясь на здоровую руку, с перевязанным от кисти до локтя правым предплечьем, и не махал, и не смотрел на лодку — он смотрел выше, на тропу, по которой поднимаются к чаше.

Ещё выше, у стены обвода, на камне сидел Ниссо.

Он не спустился на берег. Он остался наверху, откуда видно дольше, и я разглядел, что перед ним на плоском камне разложены его камешки, и что их теперь не двадцать две кучки, а больше, потому что с конца лета он ведёт не посты, а дворы, воду и счёт.

Тринадцать лет — вернее, уже четырнадцать, ему исполнилось в августе, и никто на острове этого не заметил, включая меня.

А впереди всех, по щиколотку в воде, стояла Пирри и держала пустой горшок.

Она спросила меня накануне, как они узнают, что мы дошли. Я сказал, что они увидят лодку. Это был единственный честный ответ, и он был отвратительный, и она это поняла лучше меня.

Потом мы пошли на восток, и Саринт стал сначала плоским, потом серым, потом просто неровностью на воде, а к середине дня исчез совсем.

Я ждал, что мне будет тяжело. Мне не было.

Мне было легко, и вот это оказалось худшим из всего, что случилось со мной в первый день, и я с этим потом полгода

разбирался.

На вёслах я сидел четвёртым слева.

Меня туда не назначали. Пиясса просто показал подбородком, и я сел, и это был первый раз за два с половиной месяца, когда мне показали подбородком.

Работа простая: держи темп, не лови воду, не сбивай соседа. Темп задавал не я. Счёт вёл не я. Куда идём и когда встанем, решал не я.

Я, честное слово, не сразу понял, что со мной происходит.

Первый час шёл нормально. На втором я поймал себя на том, что считаю гребки Пияссиного кормового — и не для дела, а чтобы найти у него ошибку. На третьем я эту ошибку нашёл: он сажал лодку на волну неровно, терял на каждом четвёртом подъёме, и за час это складывалось, наверное, в четверть мили.

«Товарищи курсанты, вас будут командировать к чужим группам, к чужим командирам, к людям, которые вас не звали. И вы приедете туда с полным чемоданом того, что умеете.

Первое, что вы там должны сделать, — понять, что именно из вашего чемодана здесь не нужно. Не что нужно — что нужно, вам скажут и без меня. Что не нужно.

Потому что человек, который предлагает ненужное, перестаёт быть полезным на второй день. А человек, который молчит про ненужное, на третий день оказывается единственным, у кого спрашивают».

Гуляев. Пятый курс, аудитория с треснувшим окном, и

все мы тогда решили, что он опять про политику.

Я сидел на чужом весле в чужой лодке, и мне было тридцать шесть лет, и я в первый раз за тринадцать лет по-настоящему понял, о чём была та лекция.

Я не сказал про четвёртый подъём.

Я сказал про него на седьмой день, и меня послушали, и об этом будет дальше.

Тисса гребла третьей справа.

Её тоже никто не назначал. Она села сама, в первую же минуту, и один из Пияссиных гребцов что-то сказал соседу, а Пиясса, не оборачиваясь, сказал ему два слова, и тот замолчал.

Она гребла ровно и неправильно: тянула руками, а не спиной, и к полудню у неё должно было свести лопатки. Я это видел с четвёртого места и не подошёл поправить, потому что у меня хватило соображения понять, как это будет выглядеть.

Она сама переложилась часа через полтора. Посмотрела, как гребёт сидящий перед ней, и переложилась.

У неё это всегда так работало. Она не спрашивала. Она смотрела.

Тавво не грёб. Он сидел на носу, лицом вперёд, и с той минуты, как ушёл берег, не повернул головы ни разу.

Семнадцать лет. Два месяца назад он лежал лицом к стене в доме Тиссы и молчал, и я думал, что он вообще перестал говорить. Две недели назад он убил человека на мокром жё-

лобе над чашей и потом сидел на краю площадки, и его трясло. Десять дней назад он снял рубаху при ста восьмидесяти людях и сломал этим тридцать лет молчания.

Теперь он сидел на носу и смотрел на восток.

Я подумал, что надо бы с ним поговорить, и не поговорил.

Вирро сидел на корме, у самого борта, и держал на коленях свёрнутую шкуру.

С ним по-прежнему не разговаривали.

Это не было решением — никто не собирался и не сговаривался. Просто когда он что-то говорил, разговор становился короче; когда он садился, рядом оказывалось свободно; когда он протягивал руку за черпаком, черпак ему давали, глядя в другую сторону.

На Саринте это длилось двадцать дней.

В лодке, где одиннадцать человек сидят в четырёх шагах друг от друга, это длилось четыре дня и было гораздо хуже.

Я взял его с собой, чтобы дать ему работу. Я до сих пор считаю, что это было правильно, и до сих пор не уверен, что сделал это ради него.

Карту я начал чертить во второй половине первого дня, на привале.

Пиясса вёл нас не в открытое море, а вдоль цепи. Так ходят все: от острова к острову, ночуя на берегу, потому что ночью в открытой воде делать нечего, а острова в этом море видны друг с друга почти всегда.

Я взял свою глиняную плитку — ту самую, которую таскал

за пазухой с июля, — и стал наносить.

Сначала это была карта. Саринт. Амурга на юго-востоке. Накса позади и левее. Два мелких безымянных между ними. Расстояния я ставил не в милях, потому что мили тут никому ничего не говорят, а в переходах: полдня, день, день с ночёвкой.

К вечеру я посмотрел на неё и понял, что чертил не то.

Мили и берега были на месте. Только между точками у меня сами собой встали стрелки, и на стрелках — сроки, и получалась не карта.

Получался маршрут.

Двенадцать островов в цепи. С каждого, если верить тому, что я уже знал, раз в год уходит груз. Зерно, козы, чёрный камень, люди. Груз идёт не сам: его везут, и везут те, кто приходит. Чтобы обойти двенадцать островов за сезон и вернуться на восточный берег до штормов, надо выйти в начале августа и не терять ни недели.

Я прикинул, сколько это вёсел.

Две большие варды. Двадцать четыре весла каждая. Пятьдесят с лишним гребцов, которых надо кормить всё это время, — то есть половина груза уходит на то, чтобы этот груз довезти.

Значит, идти за одним островом никто не станет: невыгодно. Значит, ходят по кругу. Значит, есть порядок обхода, и Саринт стоит в нём не первым и не последним, а где-то посередине.

Значит, у каждого острова в цепи есть своя неделя.

Я сидел на камне на чужом берегу, вертел в пальцах глиняную плитку и очень медленно понимал, что смотрю не на море.

Я смотрю на расписание.

И если я двенадцать лет чему-нибудь научился, то вот чему: расписание — это единственное, что чужак может использовать против человека, который знает берег лучше него.

Ночевали на безымянном мелком острове в полудне от Саринта.

Там жили люди — дворов шесть, коз десятка два, ни одной лодки крупнее чёлна. Пияссу знали. Ему вынесли воды и сушёной рыбы, он дал им взамен две костяные иглы и что-то ещё, чего я не разглядел, и на этом торг кончился, потому что брать с них было нечего.

Я походил вокруг, как ходил в свой третий день на Саринте: медленно, бестолково, трогая всё подряд.

Шесть дворов. Одна общая печь. Вода из ямы, накрытой плитой. Ни одного мраморного порога.

Саринт по сравнению с этим местом был городом.

Я стоял над их ямой с водой и думал о том, что два с половиной месяца назад считал Саринт дном мира.

Ночью подмёрзло.

Не всерьёз — сентябрь, — но после дневной жары разница выходила такая, что зубы стучали. Мы легли под под-

порной стенкой, все четверо, на голой земле, и я отдал свою шкуру Тавво, потому что у него не было.

Тисса легла рядом со мной.

Не близко и не демонстративно. Просто на расстоянии ладони, спиной, и я всю ночь чувствовал этот промежуток, и она, я думаю, тоже.

Между нами ничего не произошло.

Я это отметил отдельно, потому что до этой ночи мне было не до того, а в ту ночь стало до того, и я понял, что она тоже это отметила, — по тому, как она не пошевелилась ни разу за три часа.

Так началась эта история, и началась она с того, что мы оба лежали и притворялись спящими.

Амурга открылась к полудню второго дня.

Вот это был уже настоящий остров: длинный, с высокой спиной, с террасами по всему южному склону и с дымами — я насчитал их сорок с лишним, пока мы подходили, и бросил считать.

Маркиани, как называл его Пиясса, лежал в глубине бухты: дворов под сотню, вытяжка для лодок, три варды на гальке, сушильни, сети, дети, гвалт. После нашего берега это выглядело как порт.

Я сидел на весле, смотрел на эти три варды и считал.

Три варды — это шестьдесят гребцов. Это втрое больше, чем мог выставить Саринт в лучший свой день.

И ещё я считал зерно. У них были террасы — настоящие,

ухоженные, не то что наши заброшенные ступени, — и поля в распадке, и я видел снопы на крышах.

У них было.

Мы вытащились на гальку, и Пиясса повёл меня к тому, кого назвал хозяином двора.

Я потом узнал, что правильнее было бы сказать «старший дома»; но Пиясса говорил на своём торговом наречии, из которого я понимал половину, и Тисса шла рядом и добирала вторую.

Хозяину было лет пятьдесят. Плотный, с седыми косицами, в тканой одежде — второй человек за два с половиной месяца, чья одежда не была тряпкой; первым был Акар.

Он выслушал Пияссу.

Потом посмотрел на меня.

Потом велел вынести воды, и нам вынесли воды, и мы выпили, и это был правильный знак: в этом мире человек, которому дали напиться, уже не совсем чужой.

Я выложил медь.

Я делал это медленно и выложил не всё. Два куска из шести, потому что показывать всё сразу — значит назвать цену вперёд.

По двору прошёл звук.

Не выдох, как у нас, — тут медь видели чаще. Просто разговоры стали тише, и несколько человек подошли ближе и остановились там, откуда видно.

Хозяин взял верхний кусок.

Повертел. Поскрёб ногтем. Постучал по нему другим камешком и послушал звук — я запомнил этот жест и потом видел его ещё десятки раз на восточном берегу.

Положил обратно.

И сказал одно слово, короткое, и Тисса перевела:

— Хорошая.

Дальше я говорил минут десять, и говорил через двоих: я на своих четырёхстах словах — Тиссе, Тисса — на островном Пияссе, Пиясса — на торговом хозяину. Три перевода. Я уже знал, чего это стоит, и всё равно другого способа не было.

Суть была простая.

Нам нужно зерно. Много. Ячмень, эммер, что есть. Вот медь. Скажи, сколько ты дашь, и если мало, я покажу ещё.

Хозяин слушал, не перебивая.

Он вообще ни разу меня не перебил, и я, помню, подумал, что это хороший признак, и я ошибался: тут это не признак вежливости, тут это признак того, что человек уже всё решил и ждёт, пока ты кончишь.

Когда я кончил, он спросил.

Один вопрос, три слова. Тисса перевела дословно, и по тому, как она это сделала, я понял, что она поняла раньше меня:

— Откуда медь?

Вот тут надо остановиться и сказать одну вещь, потому что иначе дальше будет непонятно.

Я к тому дню умел врать на их языке ровно в объёме «я не понял».

Соврать красиво — про наследство, про старый обмен, про торговца с севера — я не мог физически: у меня не было слов, а через трёх переводчиков любая длинная выдумка разваливается на второй фразе. Соврать коротко — «купил» — значило получить следующий вопрос «у кого», на который тоже нужно врать.

А главное — Пиясса стоял рядом.

Пиясса знал, откуда медь. Пиясса три дня назад грузил её в свою лодку и видел, как её доставали из чужой варды. И Пиясса торгует на этом берегу двадцать лет и будет торговать дальше, и он не станет подтверждать мою выдумку, потому что ему потом здесь жить.

Я это всё просчитал за полторы секунды и сказал правду.

— С лодки, — сказал я. — С той, что пришла к нам.

Хозяин кивнул.

Он не удивился. Он вообще ни на секунду не выглядел удивлённым, и вот тогда до меня начало доходить, что он знал ответ до того, как спросил.

Он спросил второе.

Тисса переводила медленнее, и я видел, что ей не нравится то, что она переводит.

— Саринт?

— Саринт, — сказал я.

И он встал.

Он ничего не сказал. Не разозлился, не побледнел, не позвал людей. Он просто поднялся с камня, на котором сидел, отряхнул колени — я запомнил, что он отряхнул колени, — и пошёл в дом.

Дверной проём закрылся шкурой.

Я остался сидеть на корточках во дворе перед двумя кусками меди, разложенными на шкуре, и первые секунды три просто не понимал, что произошло.

Мы простояли там, я думаю, минуты две.

Потом Пиясса взял меня за плечо, и мы пошли к лодке.

Нам никто ничего не сделал.

Нас не выгнали, не обругали и не тронули. Женщина у соседнего двора даже дала Тавво лепёшку, когда мы проходили мимо, — просто так, потому что он выглядел, как выглядел.

Просто на этом дворе торг кончился, и на следующем тоже, потому что весь Маркиани уже знал, кто пришёл.

Я обошёл ещё четыре двора, прежде чем понял.

Обошёл я их не потому, что был упрям, а потому, что не верил: на четырёх дворах со мной разговаривали, двое даже позвали внутрь, и один старик долго вертел медь и даже назвал число.

А потом кто-нибудь произносил слово «Саринт», и всё кончалось.

Не мгновенно. Медленно, вежливо, с водой и разговором про ветер — и без зерна.

Объяснил мне это Пиясса, уже на гальке, когда мы грузи-

лись.

Он объяснял минут пять, а я собирал это ещё два дня, и в итоге получилось вот что.

Саринт в этом году не отдал.

Не «не смог» — не отдал. Убил полсотни человек, потопил две варды, отпустил тридцать пять живыми и остался должен всё, что был должен, плюс две лодки, плюс полсотни голов.

И с этой минуты Саринт — не бедный остров. Саринт — остров, за которым числится недостача.

А торговать с тем, за кем числится недостача, нельзя.

Не потому, что запрещено. Никакого запрета нет, никто не издавал указов, и хозяин двора на Маркиани не боялся ни дружины, ни Стены, о которой я тогда ещё ничего не знал.

Просто всё, что он мне продаст, может быть вычтено из него самого.

Зерно уйдёт на Саринт, Саринт его съест, а осенью придут считать — и спросят не с Саринта, с которого взять нечего, а с того, кто этому Саринту помог дотянуть до весны. И это не месть. Это бухгалтерия: если должник выжил, значит, кто-то его кормил, значит, у этого кого-то были лишние меры, значит, он недодал.

Я сидел на борту, слушал, как Пиясса это выговаривает своими двумя сотнями торговых слов, и у меня очень медленно, с натугой, поворачивалось в голове.

Я приехал купить еду.

У меня было двадцать килограммов меди, которых на этом море хватило бы на три года сытой жизни. У меня был товар, который здесь ценят выше всего. У меня была лодка, время и люди.

И этого не хватало ровно ни на что, потому что где-то на восточном берегу, в месте, которого я никогда не видел, кто-то повесил на колышек шнур с узлами.

«Правда — не план», — сказал я Тиссе в конце августа, и она тогда не поняла, и я, как выяснилось, тоже не до конца.

Уходили мы с Амурги пустыми.

Не совсем: Пиясса что-то сменял, у него всегда было что менять. Но наши шесть кусков как лежали в мешке, так и остались лежать, и я всю дорогу до следующей стоянки держал этот мешок между ступнями и чувствовал его вес.

Тисса села рядом на банку.

Долго молчала. Потом сказала:

— Он взял воду.

Я не понял и попросил повторить.

Она объяснила, и объясняла она долго, и вот что вышло.

Когда хозяин велел вынести нам воды, он тем самым сказал: вы не враги. На этом берегу это значит именно то, что значит, и обмануть этим нельзя.

То есть он не считал нас ни ворами, ни чужими, ни виноватыми.

Он просто не мог себе нас позволить.

— Он бы дал, — сказала Тисса. — Если бы мог.

И я вдруг понял, что она говорит не про хозяина двора.

Она говорила про Акара.

Я двенадцать лет учился читать чужую работу по следам и вот два с половиной месяца читал Акара — и до этой минуты ни разу не подумал, что человек, который двадцать лет отдавал людей по счёту, мог быть первым человеком в этой цепи, который просто не мог себе позволить иначе.

Я ничего ей не ответил.

В тот же вечер с Вирро заговорил чужой.

Мы стояли на песке, костёр горел низко, и один из Пияссиных гребцов — молодой, с перебитым носом, тот, что весь день сидел вторым справа, — подсел к нему и что-то спросил.

Я насторожился, потому что не понял ни слова и потому что привык, что с Вирро не разговаривают.

Вирро ответил.

Не коротко и не сквозь зубы, как отвечал нам последние двадцать дней. Он повернулся к парню, подумал и стал объяснять, помогая себе руками, и парень слушал, и переспрашивал, и в какой-то момент засмеялся.

Они проговорили, я думаю, полчаса.

Потом парень принёс ему воды — сам, без просьбы, — и Вирро взял и выпил, и сказал два слова, и парень кивнул и ушёл к своим.

Я сидел в шести шагах и очень медленно понимал, что вижу.

Двадцать дней на Саринте с этим человеком никто не разговаривал. Не били, не гнали, не судили — просто разговор при его появлении становился короче, а место рядом с ним оставалось свободным. Я это видел каждый день и считал, что так и надо: он сам выбрал, с кем говорить сутки на чужой варде, и пусть теперь живёт с этим.

А тут чужой, которому до Саринта нет никакого дела и который не знает про него ничего, подсел просто потому, что старик сидел один, — и через полчаса Вирро смеялся.

Я его не слышал смеющимся ни разу за всё время, что его знал.

Я подождал, пока парень уйдёт, и подошёл сам.

Сел рядом. Спросил, о чём.

Он ответил.

Он ответил вежливо и коротко: парень спрашивал про лодки, какие у нас на островах вытяжки и почему мы сушим сети на жердях. Он объяснил.

И всё.

Он не стал продолжать. Он не спросил меня ни о чём и не посмотрел на меня, и в его ровном коротком ответе не было ни обиды, ни упрёка, — так отвечают человеку, который спрашивает из вежливости.

Я просидел рядом ещё минуту.

Мне надо было сказать ему одну вещь. Я её знал уже недели две и даже примерно собрал на их языке: что он пошёл с нами не потому, что я его простил, а потому, что мне нужен

человек, которого там знают в лицо, и что он имеет право это знать.

Я открыл рот.

Потом встал и пошёл спать.

Третий день был самым спокойным из всех, и единственное, что в нём случилось, случилось около полудня и заняло минуты три.

Мы шли на восток-юго-восток, и слева по борту открылся островок.

Мелкий. Меньше Саринта втрое, может, вчетверо. Ни дымов, ни лодок на берегу, ни коз, ни единого следа человека.

Но у него была горбина.

Южная половина поднималась круто и ровно, будто кто-то вывалил на воду одну большую каменную гору и присыпал сверху, а к северу склон шёл длинной пологой ступенью к маленькой бухте, закрытой с трёх сторон.

И на этом северном склоне, метрах в ста над водой, лежала зелёная полоса.

Я смотрел на неё, наверное, с минуту.

В конце сентября, на четвёртый месяц без дождя, на голом камне, где всё выгорело добела ещё в июле, зелёное пятно означает ровно одну вещь и не может означать ничего другого.

— Что там? — спросил я.

Пиясса посмотрел, куда я показываю, и пожал плечами.

Он сказал четыре или пять слов, и Тисса перевела их так:

— Воды мало. Людей нет. Незачем.

И я поверил.

Вот это я хочу сказать отдельно и честно, потому что дальше будет много всего, и мне не хотелось бы выглядеть умнее, чем я был.

Я поверил человеку, который двадцать лет ходил по этой воде и знал в этой цепи каждый камень, и у меня не было ни одной причины ему не верить, и он даже не соврал: воды там для него действительно было мало, потому что ему нужна была вода для лодки на четырнадцать вёсел, а не для чего-то ещё.

Я взял плитку и поставил на своей карте точку.

Поставил как ориентир: половина третьего дня, слева по борту, приметный горб. Такие точки ставят не для того, чтобы вернуться, а для того, чтобы знать, где ты.

Потом я убрал плитку за пазуху и стал думать про зерно.

Больше в тот день я на этот остров не смотрел.

Я не вспомню о нём восемь месяцев.

В тот вечер, у огня, Пиясса достал шнур.

Я увидел это случайно — обернулся, а он сидел на корточках спиной к костру и перебирал его, ведя пальцем от узла к узлу, шевеля губами. Обычный шнур, в мизинец толщиной, локтя полтора длиной, с узлами двух родов: простыми и покрупнее.

Он дошёл до конца, подумал, отмерил пальцем и завязал новый.

Я знал это движение.

Я разбирал такой шнур полтора месяца назад, ночью, на плоском камне у чаши, и просидел над ним три часа, и вытащил из него четыре участка, десятичный счёт и шесть узлов, в которые был вплетён человеческий волос.

Тут волоса не было. Тут были рыба, вода, шкуры, дни пути и люди, которых он везёт, — и один из этих узлов был я.

Он завязал его при мне же, в Калле, перед отходом: пересчитал нас пальцем, дошёл до меня, спросил имя, я сказал «Курса», и он затянул петлю.

Я тогда стоял и смотрел, как это делается, и не сказал ни слова.

Полтора месяца я доказывал двумстам людям, что человека нельзя записать узлом. Я разбирал чужой счёт при всех. Я считал вслух шесть и объяснял, что шесть — это чьи-то дети.

А потом сам стал узлом за одну секунду и даже не поморщился, потому что это было удобно: человек, записанный на шнуре торговца, не будет забыт на чужом берегу.

Я сидел у чужого костра и очень отчётливо понимал, что разница между шнуром Пияссы и шнуром, который я снял с головы пленного, — не в узлах.

Она в том, что мой узел развяжут, когда я сойду на берег.

А чтобы развязать тот, надо было убить пятьдесят человек.

Тавво заговорил вечером, на стоянке.

Мы вытащились на песок у какого-то берега — Пиясса называл его никак, просто «стоянка», — и развели огонь, и грелись, потому что к ночи опять потянуло холодом.

Он сидел напротив, через костёр, и смотрел не в огонь, а мимо, на восток, где уже ничего не было видно.

И вдруг сказал:

— Я тут был.

Я сначала решил, что он про этот берег, и стал спрашивать, а он покачал головой и показал рукой вправо и вперёд.

Не этот. Соседний. За мысом.

Я спросил, откуда он знает.

Он сказал, что по звуку.

Я попросил повторить, потому что решил, что не понял слово; я не понял слово.

Тисса объяснила.

Он не видел берега — он шёл туда в лодке на дне, связанный, и над ним были доски. Он не видел ни разу за все четыре ночи. Но он слышал, как менялся прибой, и запомнил.

Он сказал: там галька крупная. Она гремит иначе.

Семнадцать лет.

Его держали четыре ночи в каменном загоне, куда его привезли связанным на дне лодки, и он за эти четыре ночи запомнил звук берега — не от ума, а потому что больше ему нечем было заниматься.

А дальше он сказал то, ради чего вообще заговорил:

— Там загон.

И замолчал, и больше в тот вечер не сказал ни слова, и я не стал спрашивать.

До Алланды оставалось два дня. Он уже знал, куда идёт.

Я, между прочим, тоже думал, что знаю.

Я лёг в ту ночь, глядя в небо, и прогнал в голове всё, что у меня было, — как гонял восемнадцать лет перед любой работой.

Задача: привезти зерно. Срок: до штормов, то есть до конца ноября, и лучше раньше. Средство: шесть кусков меди. Препятствие: недостача, из-за которой медь не работает. Значит, надо найти того, кто эту недостачу держит, и договориться с ним.

Всё сходилось.

Я даже был собой доволен — впервые за неделю.

Человек, у которого задача сошлась в пять строк, спит спокойно.

Я и спал.

Утром четвёртого дня, когда мы уже садились на вёсла, к борту подошёл чёлн.

Двое. Местные, с ближнего острова, за спиной сеть. Обычное дело: на воде тут здороваются, потому что новостей больше взять негде.

Они поговорили с Пияссой минуты две, и я в этом разговоре не понимал ничего, и не слушал, потому что укладывал мешок.

А потом тот, что сидел на корме, сказал что-то ещё —

коротко, четыре или пять слов.

И сказал он это Пияссе.

А смотрел при этом на меня.

Я поднял голову.

Он не отвёл глаза. Он рассматривал меня спокойно, как рассматривают вещь, про которую слышали, и я очень хорошо знаю этот взгляд, потому что сам так смотрю.

Пиясса ответил ему одним словом и взялся за весло.

Чёлн отошёл.

Я спросил, о чём.

Пиясса сделал вид, что не расслышал, а Пиясса никогда не делал вид, что не расслышал, — у него один глаз был затянут белым, а слух был как у собаки.

Я спросил второй раз.

Тогда он повернулся ко мне и перевёл, и переводил он неохотно, короткими кусками, и Тисса помогала, и всё равно вышло не сразу.

Он спрашивал, тот ли это остров.

Какой остров, спросил я.

Тот, сказал Пиясса. Где убили Кукуни.

Я сидел с веслом в руках и очень медленно соображал.

За два с половиной месяца на Саринте я ни разу не слышал, чтобы у человека, который привёл к нам девяносто семь человек и утонул в двадцати метрах от берега на глубине по грудь, было имя.

Его называли «люди с моря». Его называли «тот, кто при-

шёл». Один раз, на кругу, Вирро сказал «их старший».

Имени не было. Имена есть у своих.

А теперь он лежал где-то на дне у Долгой отмели, и у него было имя, и это имя знали на чёлне в трёх днях пути от места, где я снял с него пояс.

— Кукуни, — сказал я, чтобы услышать, как это звучит.

Пиясса кивнул.

И добавил ещё одну фразу, уже сам, без вопроса, и вот эту я разобрал почти целиком, потому что слова в ней были простые.

Он сказал: у него остался брат.

Глава 2. Имя утонувшего

Дальше я спрашивал часа полтора.

Мы шли ровным ходом, вёсла работали, и разговор через два языка и одну Тиссу на ходу — занятие, которое лучше всего описывается словом «выковыривать». Я говорил Тиссе, Тисса — Пияссе, Пиясса отвечал, Тисса собирала ответ, я переспрашивал, и на каждый кусок уходило столько времени, что к полудню я взмок, хотя всё это время греб не в полную силу.

Но я вытащил.

Кукуни был старшим сыном дома, который сидит на восточном берегу, в двух днях хода севернее Алланды, — Пиясса назвал место, я не разобрал и попросил показать, и он показал рукой примерно на северо-восток, что означало «далеко и не здесь».

Его отец ходил на острова до него.

Дед — до отца.

Это меня и подкосило первым, хотя, если подумать, ничего неожиданного тут не было. Я почему-то держал в голове картинку, что люди с моря — это вольница: сбились, пошли, взяли. А выходило семейное дело, в котором сын наследует отцу так же, как у нас наследуют кузницу.

— Что он наследует? — спросил я. — Лодки?

Тисса перевела. Пиясса ответил длинно.

Она собирала это минуты три и в итоге сказала одно слово:

— Круг.

Я не понял, и она повторила то, что он объяснял, и повторила два раза, и на второй до меня дошло.

Наследуется не лодка и не дружина. Наследуется право обходить определённые острова.

Дом Кукуни ходит по своему кругу. Соседний дом — по своему. Круги не пересекаются, и это не благородство, а простая экономика: если на один остров придут двое, второй увидит пустые кладовые и будет драться с первым за воздух.

— Кто это делит? — спросил я.

Вот тут Пиясса впервые за разговор помолчал.

Потом сказал два слова, и Тисса перевела их дословно, потому что второго значения у них не было:

— Те, кто считает.

Я запомнил это и отложил, потому что до Алланды оста-

валось два дня и я тогда думал, что там всё и выяснится.

Дальше пошло то, ради чего я вообще начал этот разговор.

Я спросил: если они приходят и берут, почему они не берут всё?

Вопрос звучит глупо, и я его задал именно поэтому: глупые вопросы — единственный инструмент, который у меня был.

Девяносто семь человек против пятидесяти пяти. Они могли вырезать Саринт в любой год из двадцати. Могли забрать всё зерно, всех коз, всех детей и сжечь остальное. Не забрали. Двадцать лет они приходили, брали отмеренное и уходили.

Почему?

Пиясса на это засмеялся.

Он объяснял минут десять, с руками, и половину он объяснял мне как ребёнку, и я эту половину заслужил.

Смысл сводился к трём вещам, и каждая из них была очевидна ровно до той секунды, пока её не произнесли вслух.

Первое. Остров, с которого взяли всё, на следующий год не даёт ничего. И через год ничего. И через пять лет там голый камень и никого. Двадцать лет по чуть-чуть — это больше, чем один раз всё.

Второе. Взять всё — значит драться всерьёз. А драка стоит людей, и люди в лодке — это те же гребцы, которых потом не хватит на обратную дорогу с грузом.

И третье, которое и было настоящим ответом.

Они не берут себе.

Я попросил повторить. Тисса повторила.

И тогда я сделал то, чему научился за полтора месяца на Саринте дороже всего остального: попросил не сказать, а показать. Слова через два языка приводятся в порядок и теряют острые края. То, что видно, не теряет ничего.

Пиясса посмотрел на меня с интересом — впервые за день не как на груз — и снял с пояса шнур.

Тот самый. Я видел его у костра в первый вечер, и на нём где-то среди прочих висел узелок, который был мной.

Он разложил шнур на колене. Показал участок: вот что я взял на борт. Показал другой: вот что должен сдать. Узлы на них были одинаковые, пара к паре, и он провёл по ним пальцем, как проверяют, ровно ли легла сеть.

Потом взял из-под банки обрывок бечёвки, распустил один узел на втором участке — как будто недовёз — и завязал этот узел заново. Но не на шнуре.

На бечёвке. А бечёвку привязал к шнуру снизу, отдельным хвостом, у самой своей руки.

И поднял всё вместе, чтобы я видел: длинный шнур и короткий хвост, на котором висел один узел.

Потом ткнул себя пальцем в грудь.

Переводить было нечего.

Дружина не владеет тем, что привозит. Дружина везёт.

Она получает свою долю — хорошую долю, лучшую, чем у всех прочих на этом берегу, — но зерно, козы, чёрный ка-

мень и люди уходят дальше, туда же, куда уходит счёт. А если привезли меньше, чем записано, разницу пишут не на остров.

Слово «люди» в этом куске Тисса перевела быстрее остальных — ровно, одним выдохом, не сбавив и не запнувшись, — и пошла дальше. Я этого тогда не заметил.

Разницу пишут на того, кто вёз.

Я перестал грести.

Не нарочно — просто руки остановились сами, и сосед сзади ткнул меня веслом в спину, и я снова взялся.

Давайте я посчитаю вслух, потому что я тогда считал именно так.

Три недели назад к нам пришли девяносто семь человек. Домой ушли двенадцать на трёх чёлнах плюс тридцать пять, которых я отпустил. Итого сорок семь.

Пятьдесят человек не вернулись.

Две варды — не вернулись.

Весь груз, за которым они шли, — сто сорок четыре пластины, тридцать восемь мер зерна, двенадцать коз и шесть человек — не привезён.

И всё это, до последней меры, записано не на Саринт.

Записано на дом Кукуни.

— Сколько? — спросил я.

Пиясса развёл руками и сказал, что не знает, и добавил фразу, которую Тисса перевела так:

— Столько, сколько не платят.

Я сидел на весле и очень медленно понимал, что сделал три недели назад.

Я двое суток думал, что дерусь с грабителями. Потом полтора месяца — что дерусь с системой, у которой нет лица. А на самом деле я разорил конкретную семью на конкретном берегу.

Не победил. Разорил.

Есть разница, и разница вот в чём: победа кончается, а долг остаётся, и он теперь висит на людях, которые знают, где я живу.

К полудню слева открылся остров, и Пиясса повернул к нему.

Я решил, что это стоянка. Я ошибся: стоянка была не нужна, воды у нас хватало. Он шёл туда по делу, и дело было простое — выменять сушёную рыбу, потому что здесь она дешевле.

Остров назывался Танда.

Меньше Амурги, больше Саринта. Один посёлок в бухте, дворов под шестьдесят, терраса, тропа наверх, вытяжка для лодок.

Я вылез на гальку и первые полминуты не мог понять, что не так.

Потом понял.

Крыши.

На всех крышах лежал тростник — свежий, желтый, уложенный в этом году. У нас после пожара одиннадцать дво-

ров стояли без крыш вообще, а из остальных половина была латаная-перелатаная.

Дальше я стал смотреть внимательнее, потому что это уже была работа, а работу я делаю всегда.

Две варды на гальке. Обе не старые.

Питты во дворах — я насчитал у первого же дома семь штук, и все стояли в земле по плечи, то есть полные или почти.

Козы. Много. Я сбился на четвёртом десятке.

И дети.

Вот это добило меня окончательно, и я до сих пор помню, как мне стало холодно в тридцатиградусную жару.

Дети на Танде были не такие, как у нас.

Наши — худые до рёбер. Не по-модному худые, а как бывает у тех, кто всю жизнь ел ровно столько, чтобы не умереть; я это записал в первый свой день на Саринте, глядя на Ниссо под доской, и с тех пор видел это каждый день и перестал замечать.

Эти были обычные.

Круглые щёки, ровные ноги, у одного мальчишки лет пяти — живот колесом, потому что объелся.

Танда платила двадцать лет.

Каждый год, без единого сбоя, по счёту. Зерно, козы, чёрный камень. И людей — Пиясса подтвердил это одним кивком, когда я спросил, и не стал уточнять сколько, и я не стал переспрашивать.

Я тогда решил, что это то же самое, что у нас, и ошибся, и понял разницу только через месяц.

И за это их не трогали, и у них были полные питты, целые крыши, две варды и толстые дети.

Я стоял на чужой гальке, смотрел на пятилетнего мальчишку с объевшимся животом и очень отчётливо слышал в голове голос Акара, сидящего на камне над кладбищем:

«За тридцать лет мы отдали шестьдесят. Сколько было бы без договора?»

Я тогда не смог ему ответить. У меня не было цифры.

Теперь цифра стояла передо мной и жевала лепёшку.

Пиясса ушёл торговаться к лодочной вытяжке, и я пошёл по посёлку.

Я шёл так же, как на третий день на Саринте, когда ещё не знал ни одного слова: медленно, с пустыми руками, глядя не на людей, а на то, что вокруг людей. Люди врут лицом. Вещи не врут.

Вещи на Танде говорили одно и то же.

У каждого двора был очаг под навесом, и под каждым навесом висела рыба — не три тушки на верёвке, а связки, в два ряда. У стены третьего дома сохли сети, и сетей было четыре, и одна новая, светлая, ещё не просмоленная. В проулке валялся расколотый горшок, и его никто не собирал.

Вот это я запомнил отдельно.

На Саринте расколотый горшок не валяется. Черепок идёт на скребок, на крышку, на бирку, на что угодно; Пирри за

черепок в августе подралась с соседской девчонкой, и я их не разнимал, потому что обе были правы.

Здесь черепок лежал в пыли, и через него переступали.

Вирро догнал меня у четвёртого двора.

Он шёл с лепёшкой. Где взял — не сказал, а я не спросил. С того первого вечера, когда к нему у костра подсел чужой, старик будто оттаял: на Саринте с ним полтора месяца молчали, а здесь, где про Саринт никто ничего не знал, ему совали лепёшки. Лепёшка была целая, толстая, из хорошей муки, и он отломил половину и протянул мне.

Я взял.

Мы стояли и ели, и за нами из-за плетня смотрели двое детей, и Вирро скорчил им рожу, и они засмеялись.

— Тут хорошо, — сказал Вирро.

Сказал по-островному, легко, как говорят про погоду. Я кивнул.

Он доел, облизал пальцы и сказал ещё:

— Тут бы жить.

И пошёл дальше, к детям, и через минуту уже сидел с ними на корточках и что-то им показывал на пальцах, и они опять смеялись.

Я смотрел ему в спину и думал о том, что у него под рубахой.

Четыре линии. Старые, белые, заплывшие — я увидел их в первую свою неделю на кругу, когда он поднял руку, и заметил тогда, что никто из восьми старших туда не смотрит.

Номер в очереди, до которого однажды не дошло, потому что в тот год хватило первых двух.

Вирро носил этот договор на груди полжизни. И полжизни был за него — при отце Акара, при Акаре, при мне. За это с ним теперь на Саринте не разговаривают.

А здесь договор стоял передо мной в виде свежих крыш и толстых детей, и старик, которого на своём острове сделали пустым местом, сидел на корточках посреди того, что было бы, если бы тогда послушали его.

Он не сказал «я же говорил». Он вообще ничего не сказал, кроме «тут бы жить».

Этого хватило.

Я не знал тогда, что с этим делать. Я и сейчас не очень знаю.

У седьмого двора меня окликнули.

Старуха — лет пятидесяти, что здесь значит старуха, — сидела на пороге и лущила что-то в миску. Она окликнула меня не словом, а звуком, каким подзывают козу, и я подошёл, потому что это был первый человек на острове, который заговорил со мной сам.

Тисса была рядом через минуту. Я не звал; она просто появилась, как появлялась всю дорогу, когда я начинал с кем-нибудь говорить.

Старуха спросила, что я ищу.

Я сказал: зерно.

Она посмотрела на меня так, как смотрят на взрослого му-

жика, который спросил, где тут вода, стоя по колено в ручье, и показала подбородком на двор.

Питты. Семь штук.

Я показал на них и спросил: продашь?

Она засмеялась.

Потом перестала смеяться, встала, отряхнула руки о подол и провела меня к питтам, и там, стоя над ними, объяснила — а Тисса переводила кусками, — что это не семь питт.

Это четыре питты и ещё три.

Четыре — её. На зиму, на весну, на посев.

А три — не её. Три стоят закрытые, крышки замазаны глиной, и глину эту не она мазала, и не муж. На глине — знак. Она показала пальцем, не касаясь, и я нагнулся и увидел оттиск, вдавленный в сырую ещё глину и так засохший.

Три круга, один в другом. И косая черта через все три.

Я этот знак уже видел.

Плоский камешек на шнурке, снятый в прошлом месяце с шеи человека, который утонул, не отдав пояса. Кинт держал его на ладони, смотрел долго и сказал одно слово: «Стена».

Больше о нём никто на Саринте не знал ничего, включая пленного, у которого не нашлось для этого слова.

А тут он стоял на крышке питты в чужом дворе, и старуха показывала на него пальцем, не касаясь.

Эти три питты заберут осенью.

Не её зерно в её дворе, которое она держит, кормит от мышей и сушит от сырости, и за которое отвечает, если недо-

станет.

Я стоял над тремя запечатанными питтами и чувствовал себя человеком, которому наконец показали ту самую половину чертежа, которую он полтора месяца рисовал по памяти.

Вот как выглядит договор изнутри.

Не пришли и взяли. Отложили заранее. Своими руками, в своём дворе, под чужой печатью. Каждый год. Двадцать лет.

Толстые дети на Танде были толстыми не вопреки этим трём питтам, а вместе с ними. Три питты — это цена за то, что к четырём никто не прикасается.

Я достал из-за пазухи слиток.

Не знаю, зачем. Наверное, проверить. Показал старухе, показал на её четыре питты, показал два пальца.

Она посмотрела на медь.

Смотрела она дольше, чем было прилично, и я видел, как она считает: я это выражение знаю на любом лице, на любом языке. Двадцать килограммов меди на этом море — это не деньги, это возможность. Слиток — это нож, два ножа, это новая варда наполовину, это что-то, что можно отдать осенью вместо человека.

Она открыла рот.

— Иди в дом, — сказали из-за спины.

Муж. Он стоял у плетня, я не слышал, как он подошёл. Сказал он это жене, не мне, и сказал негромко, и она пошла в дом, не договорив и не обернувшись.

Мне он не сказал ничего.

Он просто стоял и смотрел, пока я не убрал слиток обратно.

***

Разговор случился на обратном пути к лодке, пока Пиясса ещё торговался.

К нам подошли. Сначала двое, потом ещё трое — обычное дело, на маленьком острове чужая лодка это событие.

Они смотрели на Тавво.

Не на меня — на Тавво. Он стоял чуть в стороне, в своей рубахе, и рубаха у него была распахнута, потому что жарко, и на грудине у него были три белые линии.

Вирро стоял в двух шагах от него, в рубахе, застёгнутой до горла, и на него не смотрел никто.

Один из подошедших сказал что-то соседу. Тот ответил.

Тисса напряглась, и я это заметил.

— Что? — спросил я.

Она не перевела.

Тогда спросил тот, что постарше, и спросил он прямо у неё, и на островном — их говор отличался от нашего, но не настолько, чтобы я не разобрал половину.

Он спросил, откуда они.

Тисса сказала: Саринт.

И вот тут разговор кончился так же, как на Маркиани, только наоборот.

Там от нас отошли молча. Тут заговорили все сразу.

Я понял, может, каждое четвёртое слово, и собрал это только к вечеру, когда Тисса пересказала мне спокойно. Но интонацию я понял сразу, потому что интонацию понимает даже собака.

Они не боялись.

Они не жалели.

Они были злы.

Старший говорил дольше всех, и он два раза показал рукой на север — в сторону, где лежал наш остров, — и один раз обвёл ладонью свой посёлок, крыши и детей.

Тисса перевела мне вечером три фразы, и я думаю, что из всего сказанного она выбрала самые мягкие.

А там, на берегу, когда я спросил «что?», она не перевела ничего. Я решил тогда, что она не расслышала. Она расслышала всё. Она решила, что слушать это мне лучше у костра, а не перед пятью злыми мужиками, — решила за полсекунды, за меня и не спросив.

Я понял это только к ночи. И ничего ей об этом не сказал.

Первая: «Вы убили пятьдесят человек».

Вторая: «Теперь они придут и возьмут вдвое. И не только с вас».

И третья, от которой я не могу отделаться до сих пор:

«Кто вас просил?»

Понимаете, в чём штука.

Я полтора месяца собирал двести человек, объяснял им на трёхстах словах, ломал обряд, спорил с Акаром, отбивал

источник, хоронил двадцать три человека — и всё это время был совершенно уверен, что делаю правильную вещь, которую эти люди просто не могут увидеть целиком.

А потом приехал на соседний остров, до которого день пути, и сытые люди с целыми крышами сказали мне, что я сломал то, что работало.

И у них были аргументы.

Я не спорил. Мне и нечем было: на их языке я мог сказать «вода», «сколько», «нет» и «два черпака», а на своём мне никто не ответил бы.

Тавво застегнул рубаху.

Он сделал это медленно и спокойно, не глядя ни на кого, и пошёл к лодке.

Я за ним не пошёл. И не надо было.

Уже отойдя от берега, я взял плитку и стал считать.

Считал я не то, что считал вчера.

Вчера я чертил маршрут: кто куда ходит и за сколько дней. Сегодня я чертил другое, и для этого мне пришлось перевернуть плитку на чистую сторону.

Смотрите.

Если дом Кукуни ходит по своему кругу и на этом круге у него, скажем, восемь или десять островов — а Пиясса насчитал мне на пальцах восемь, но сбился и сказал «больше», — то Саринт для них не остров.

Саринт — строка.

И если в этой строке в этом году не сошлось, то недостачу

надо закрыть, и закрыть её надо не из воздуха.

Её закроют с остальных семи.

Я поставил на глине восемь точек и соединил их дугой, и у меня получилось кольцо, и в этом кольце Саринт был одной точкой из восьми.

Потом я стёр и нарисовал заново, крупнее.

Восемь островов — это один дом. Домов на берегу несколько; Пиясса, когда я его дожал, показал три пальца, подумал и показал четыре.

Четыре дома по восемь островов — тридцать с лишним точек.

Тридцать с лишним шнуров, висящих где-то на восточном берегу на одном колышке.

И на каждом из них — свой четвёртый участок, помеченный человеческим волосом.

Дальше я не досчитал.

Лодку черпнула бортом волна, и ближний Пияссин гребец, не спрашивая, выдернул у меня плитку из рук и стал вычерпывать ею воду из-под банок: плоская глина для этого лучше горсти. Когда он сунул её мне обратно, на ней не было ни точек, ни дуги. Мокрая гладкая глина и отпечаток его ладони.

Остальное я досчитывал в голове, и меня трясло, и я списал это на солнце.

Вот теперь главное, ради чего я это всё считал.

Я ехал купить зерно.

У меня было двадцать килограммов меди — товар, который в этом море ценят выше всего. У меня была лодка, время и люди.

И на Маркиани мне не продали ни одной меры не потому, что я плохо торговался, а потому, что за Саринтом числится недостача.

Значит, цена зерна для нас не зависит ни от урожая, ни от меди, ни от того, насколько я хорош.

Она зависит от одной строки, которую кто-то ведёт на шнуре в месте, где я никогда не был.

Я двенадцать лет служил в разведке и умею находить рычаг. Рычаг всегда есть: человек, узел, проход, время.

А тут рычагом была запись.

Я убрал плитку за пазуху и долго сидел, глядя на воду, и первый раз с того дня, как меня выбросило на гальку, всерьёз не понимал, что мне делать.

Тисса подсела ко мне вечером.

Мы стояли на очередном безымянном берегу, огонь уже горел, Пияссины гребцы варили что-то в своём горшке, и пахло рыбой и дымом.

Она села рядом, не близко, обхватив колени.

И спросила:

— Ты знал, что у него есть брат?

Я не сразу понял, о ком она.

Потом понял.

— Нет, — сказал я.

Она помолчала.

И спросила второе:

— А если бы знал?

Я открыл рот.

И вот тут надо честно.

У меня был ответ. У меня было даже два ответа, и оба правдивые.

Первый: это ничего не меняет. Человек, который пришёл к твоему берегу с девяноста семью людьми, чтобы забрать шестерых детей, остаётся тем, кто пришёл, независимо от того, есть у него брат, мать, дочь двух лет и старый зелёный термос с треснувшей пробкой.

Второй: конечно, изменило бы. Не решение — решение было бы то же. Изменилось бы то, как я его принимаю. Я бы считал не «полсотни человек», а «полсотни человек, у каждого из которых есть дом на конкретном берегу».

Я посмотрел на неё и не сказал ни первого, ни второго.

Потому что понял, что она спрашивает не про Кукуни.

Она спрашивает про то, знаю ли я вообще, что у людей, которых я считаю, есть братья. И если знаю — то как я тогда продолжаю считать.

А на это у меня ответа не было ни на её языке, ни на моём.

Я молчал, наверное, секунд десять.

Она не стала переспрашивать.

Она подождала ровно столько, сколько нужно, чтобы человек ответил, если собирается, — и отвернулась к огню.

Мы просидели рядом ещё долго. Разговора больше не было.

Она вернётся к этому вопросу через семь недель, и вернётся не словами, и я отдал бы многое, чтобы в тот вечер у костра сказать хоть что-нибудь.

Ночью я не спал.

Я не сплю перед работой и не спал уже третью ночь подряд, хотя никакой работы впереди не было — были два дня гребли.

Я лежал на спине, смотрел в небо, которого в моём мире никто толком не видит, и меня несло куда попало.

Сначала вынесло на Тиссу. На то, как днём в лодке она перевела слово «люди».

Четыре года назад по этому самому счёту увезли её отца. Сегодня она весь день переводила мне, как устроена дорога, по которой его везли, — куда идёт груз, кто за него отвечает, что бывает с недостачей, — и перевела ровно, без единой запинки. Потому что запинка стоила бы мне времени.

Я это отметил и отложил. Я весь этот день откладывал.

А потом меня вынесло дальше, туда, куда я не пускал себя с июля.

Пятое июля. Вернее, четвёртое, поздний вечер, потому что в воду мы вошли в двадцать три сорок.

Марк сидел на транце с контейнером на коленях и ел холодную пастицио.

Он всегда ел холодную. Разогревать было нечем, и он го-

ворил, что так даже лучше, что его бабка делала именно так, и я подозревал, что бабка тут ни при чём, а есть горячее ему просто некогда.

Тридцать девять лет. Киприот. Спокойный до полного неприличия.

Он в тот вечер второй час ворчал про профсоюз.

У них там шла какая-то история с подрядом на подводные работы в порту: то ли платили не по ставке, то ли записывали часы не так, — я в этом не разбирался и, честно говоря, слушал вполуха. Он говорил, что напишет. Я сказал, что он уже полгода говорит, что напишет.

Он ответил, что в этот раз точно напишет, вот вернёмся — и напишет.

Мы так и не договорили.

Потом он проверил мой аппарат — не потому, что не доверял, а потому, что не мог сидеть, — и заставил меня прицепить на обвязку тот идиотский жёлтый поплавок.

Каждый раз заставлял. Каждый раз я говорил, что на сорока метрах ночью он не нужен никому, и каждый раз цеплял, потому что спорить дольше, чем цеплять.

Последнее, что я от него слышал наверху, была ерунда.

Мы уже сидели на борту, в полном снаряжении, спиной к воде, и я, вынув регулятор на секунду, сказал ему что-то вроде: напишешь — дашь почитать. Про профсоюз.

Он засмеялся и сказал: «Сначала вылезь».

И мы ушли вниз спиной вперёд, оба, как положено, и свет

с катера стал мутным пятном, потом пятнышком, а потом его не стало, и остались только два наших луча и планктон в них, как снег в фарах.

А последнее, что я от него слышал вообще, я не разобрал.

На сорока метрах, когда из расщелины пошёл тот свет, Марк ткнул в него пальцем и что-то сказал в связь. Три слова, может, четыре. Я слышал голос и не слышал слов, потому что в ту секунду смотрел на компас, а компас крутился.

Я потом, на песке, много раз пытался их достать. Ставил себя обратно на сорок метров, поворачивал голову, слушал.

Не достаётся.

Это были последние слова человека, который видел то же, что и я, — единственного на всей земле, — и я их пропустил, потому что смотрел на прибор.

Дальше я его не видел. Дальше — только то, что я знаю, не видя.

Он всплыл один. Я знаю Марка и знаю регламент, и знаю, что он его нарушил: искал дольше, чем положено, на воздухе, которого на это не было, и вышел на поверхность с таким режимом, за который в нормальной конторе снимают с погружений на год. Потом сделал всё, что положено. Потом, наверное, ещё то, что не положено.

И контейнер из-под пастицио так и остался стоять на трапе, потому что убирать его было некому и незачем.

И один раз, за неделю до той ночи, он сказал мне фразу, которую я вспомнил только тогда, на песке, через два с по-

ловиной месяца.

Он сказал: ночью не ныряют.

Не в смысле «нельзя» — он двадцать лет работал и знал, что можно. В смысле «не ныряют»: не принято, не делают, не надо.

Я ему тогда ответил, что аномалия на сорока двух метрах, экспедиция теряет разрешение через сутки, идёт погода, и окно одно.

Всё это было правдой.

И через несколько часов я лежал голым на гальке за четыре с половиной тысячи лет от него.

А он остался там.

Вот это я и понял в ту ночь на песке, и понял впервые за всё время, потому что раньше просто не давал себе этим заниматься.

Для Марка я утонул.

Пятого июля две тысячи двадцать пятого года напарник не всплыл. Не нашли. Ни тела, ни снаряжения, ни поплавка — я даже не знаю, оторвало его или нет.

Его допрашивали. Его наверняка допрашивали, потому что двое ушли вниз, а вернулся один.

Он рассказывал одно и то же людям, которые ему не верили, и ничего не мог доказать, потому что доказывать было нечем.

И он это помнит.

Прямо сейчас, в эту секунду, он помнит.

Я перевернулся на бок и очень долго смотрел на догорающий огонь.

Странная штука: за два с половиной месяца я привык к тому, что мой мир кончился. Привык, что мать и сестра получат бумагу с формулировкой «пропал без вести при выполнении подводных работ». Привык даже к тому, что никому ничего не объяснить.

А вот к тому, что где-то там живой человек до сих пор ходит с моей смертью на руках, — не привык.

Этому меня не учили.

Тавво не спал тоже.

Я увидел его, когда встал отлить: он сидел у самой воды, на камне, спиной к огню, и смотрел на восток. Рубаха на нём была застёгнута до горла, хотя ночь была тёплая.

С Танды он не сказал ни слова. В лодке грёб как все, на стоянке ел как все, и когда кто-нибудь из Пияссиных гребцов пытался с ним заговорить, смотрел сквозь, пока тот не отставал.

Я сел рядом. Не близко.

Молчать с Тавво я умею. За полтора месяца на острове мы с ним сказали друг другу, может, слов двести, и из них сто — про ремни и древки, и всё равно он был одним из немногих, кого я там понимал без перевода.

Мы просидели так долго. Огонь за спиной осел, гребцы захрапели, море шло к берегу и уходило.

Впереди, через пролив, лежал следующий остров — тём-

ный, длинный, без единого огонька. Только на самом его краю, под мысом, горела красная точка. Костёр. Кто-то там тоже не спал.

Тавво поднял руку и показал на неё.

— Там поили, — сказал он.

Это были первые слова, которые он произнёс сам, не в ответ, с тех пор как мы отошли от Саринта.

Я не спросил, откуда он знает. Я уже понял.

Людей не везут через открытую воду без остановки. Перед переходом их где-то держат ночь, дают напиться и утром пересчитывают. А этот остров был последним перед открытой водой — Пиясса сам сказал мне это днём, не зная, что говорит.

— Одну ночь? — спросил я.

Он кивнул.

Потом сказал ещё, медленно, будто доставал слова по одному из глубокого мешка:

— Там поили. Утром считали. Потом вода. Потом — четыре ночи.

Четыре ночи.

Я два месяца носил в голове «четыре лодки», которые сам себе и придумал, пока мне не перевели то, что было сказано на самом деле. Теперь эти четыре ночи лежали где-то за этим островом, на восток, и Тавво знал к ним дорогу ровно до этого костра. Дальше его везли лицом в дно лодки.

— Где? — спросил я.

Он пожал плечами и показал рукой на восток — широко, на полгоризонта.

И замолчал.

Я ждал продолжения — про то, сколько их там было, кто считал, кого не досчитались, — и продолжения не было. Он смотрел на красную точку под мысом, и лицо у него было такое, какое бывает у людей, которые видят не то, на что смотрят.

Я мог спросить. Я двенадцать лет получал ответы от людей, которые их давать не хотят, и знаю, как это делается.

Я не спросил.

Не из деликатности. Из того, что если бы я спросил, мне пришлось бы потом с этим ответом что-то делать, а я уже знал, что сделать ничего не могу: у меня была лодка чужого купца, трое своих и шесть кусков меди, а напротив сидел остров, который двадцать лет поит чужих детей перед дорогой и утром их пересчитывает.

Тавво встал, отряхнул ладони о штаны и пошёл к огню.

Через два шага остановился и, не оборачиваясь, сказал:

— Я думал, не узнаю.

И лёг, и накрылся с головой.

***

Утром Пиясса сказал, что мы не будем ночевать на следующем острове.

Он объявил это буднично, между делом, укладывая своё барахло, и Тисса перевела мне через плечо, и я не сразу со-

образил, что услышал.

Следующий остров был последним перед открытой водой. На нём стояло, по словам Пияссы, дворов сорок, и там была хорошая вытяжка, и он ночевал там двадцать лет подряд, потому что ночевать больше негде.

— Почему? — спросил я.

Он ответил не сразу.

Сначала доложил мешок. Потом затянул горловину. Потом выпрямился и сказал четыре слова, и Тисса перевела их, и я понял, что он думал об этом всю ночь так же, как я думал про своё.

Он сказал: там дом Кукуни.

Не сам дом — его люди. Родня, свойственники, те, кто ходит с ними в круг. Обычные рыбаки, которые полгода ловят рыбу, а на два месяца в году садятся на вёсла и идут туда, куда скажут.

Он сказал ещё что-то, длинное, и Тисса собрала из этого главное.

Пиясса торгует двадцать лет. Он возит чужих постоянно и никогда об этом не думает. Но одно дело везти чужих, а другое — везти четверых с острова, где этой осенью утопили пятьдесят человек и их старшего. Один из них с тремя линиями на груди, вторая — дочь человека, которого они же четыре года назад увезли, третий — старик с четырьмя линиями, который носил воду их пленным и которого у них знают в лицо.

И вчера на Танде нас видели шестьдесят человек.

Новости на этом море ходят быстрее лодок. Я в этом убедился ещё на Амурге и почему-то не сделал вывода.

— Значит, идём мимо, — сказал я. — И где ночуем?

Тисса перевела ответ в два слова, и я сначала решил, что она ошиблась.

Мы не ночуем.

Мы идём ночью.

Напрямик, через открытую воду, срезая угол, — переход, который Пиясса делал за свою жизнь раз пять или шесть, всегда при хорошей погоде и всегда от нужды.

Выходим на закате. Берег откроется к утру.

Я стоял с мешком меди в руках, смотрел, как Пияссины гребцы деловито перекладывают воду ближе к корме, и думал совсем не о том, о чём должен был.

Я думал о том, что всю жизнь ходил туда, куда нормальные люди не ходят, и всегда объяснял это тем, что окно одно.

Марк сказал мне: ночью не ныряют.

Я ответил, что окно одно.

Я был прав. Аномалия лежала ровно там, где я сказал, и я до неё дошёл, и не всплыл.

Акар в августе сказал мне, что их разведку трогать нельзя.

Я ответил, что именно поэтому и надо.

Я был прав, и мы взяли пленного, и Кассо утонул.

Глава 3. Ночь без берега

Остров людей Кукуни мы прошли днём, и прошли далеко.

Пиясса увёл лодку к югу так, что тот берег всё время оставался слева на границе видимого — длинная серая спина, тёмная полоса зелени у воды, белые пятнышки, которые могли быть домами, а могли быть камнями. Я смотрел на него часа два и насчитал на вытяжке шесть корпусов. Два больших. Больших было ровно столько, сколько не хватало дому Кукуни. Мысль пришла сама, и я её не звал.

Тавво смотрел туда же.

Не на дома — на мыс на восточном краю, под которым ночью горел костёр. Сейчас там ничего не горело и никого не было видно, просто мыс, просто камень, и чайки. Он смотрел на этот мыс всё время, пока мы шли мимо, и грёб при этом ровно, не сбиваясь, и когда мыс ушёл за корму, повернул голову, как поворачивают, провожая глазами.

Потом от берега отделился чёлн.

Маленький, на двоих. Он вышел из-за мыса и пошёл нам наперерез — не быстро, но так, что через полчаса мы бы сошлись.

Пиясса увидел его раньше меня и ничего не сказал. Только кормовой по его слову положил лодку ещё на два румба к югу, а гребцы, не поднимая голов, прибавили.

Чёлн шёл за нами почти час.

Он не догонял, и не отставал, и не отворачивал. Шёл — и всё. Я видел две фигуры: одна гребла, вторая сидела на носу и смотрела. Лиц на таком расстоянии не разобрать, но мне и не надо было лиц; мне было достаточно того, что вторая

фигура за час ни разу не повернула головы в сторону берега.

Она считала нас.

Трое на вёслах сверх обычного. Один старик на корме. Одна женщина. Лодка Пияссы, которую на этом берегу знает каждый.

Потом чёлн развернулся и пошёл обратно — так же не спеша, как шёл за нами.

Что он увёз и кому, я не узнал ни в тот день, ни потом. Я спросил Пияссу, он пожал плечами. Я спросил ещё раз, вечером, и он ответил одним словом, которое Тисса перевела как «рыбаки», и посмотрел на меня так, что третий раз я спрашивать не стал.

***

К середине дня мы встали на камне.

Не на острове — на скале посреди воды, голой, белой от птичьего помёта, шагов в полтораста длиной. Ни воды, ни травы, ни тени. Пиясса завёл лодку в щель с подветренной стороны, гребцы вытащили её носом на плиту, легли кто где и через пять минут спали.

Спали по-настоящему: на камне, на солнце, открыв рты.

Я не спал. Я сел в тени лодки и стал считать воду.

Воду Пиясса вёз в больших горшках, заткнутых травой и глиной, и по дороге я их уже пересчитал: одиннадцать. Три пустых. Восемь полных, из которых два — наших, тех, что собирала Тисса. Двенадцать человек в лодке. Ночь гребли, потом день до места, если всё хорошо.

Если всё плохо — я не знал, сколько. Этого не знал никто, включая Пияссу, который делал этот переход раз пять за жизнь.

Хватало. С запасом на полтора дня. Я посчитал это два раза и успокоился, насколько вообще мог.

Потом сел считать людей.

Это было интереснее.

Шестеро Пияссиных гребцов, и каждый из них за три дня показал мне, сколько стоит. Двое старших — жилистые, с плечами, сточенными вёслами до костей, гребут, как дышат, и не устают, потому что давно перестали замечать, что устают. Двое средних. И двое молодых, и один из них — тот, с перебитым носом, что в первый вечер подсел к Вирро, а вчера вычерпывал воду моей плиткой.

Все шестеро гребли одинаково.

Так, как гребут на коротких переходах от острова к острову: вся лодка разом, изо всех сил, пока хватает, потом все разом бросают вёсла, пьют, отдыхают, потом снова. Рывок — стоп. Рывок — стоп. На переходе в полдня это работает. Тело успевает отдохнуть, лодка успевает дойти.

А на переходе в ночь это не работает.

Я это знал не из книг. Я это знал из воды: четыре часа в ластах вдоль берега, по компасу, с грузом, — и единственный способ дойти — не останавливаться никогда. Не быстро, не красиво, но никогда. Каждая остановка стоит больше, чем кажется: ты теряешь не только ход, ты теряешь ритм, а

ритм потом собирается минут десять, и эти десять минут ты работаешь вдвое дороже.

Лодка — то же самое, только с четырнадцатью вёслами.

Когда Пиясса проснулся, я подошёл к нему с плиткой.

Нарисовал ему лодку. Двенадцать гребцов — нет, у нас гребцов было девять, не считая его и кормового; нарисовал девять. Разделил на три части. Показал: одна часть отдыхает, две гребут. Потом меняются. Лодка не встаёт ни разу за всю ночь.

И счёт. Меняются не когда устали, а по счёту: столько-то гребков. Один человек считает вслух. Все знают, когда их очередь.

Тисса переводила.

Пиясса слушал, глядя не на плитку, а на меня. Потом посмотрел на плитку. Потом снова на меня.

И сказал длинную фразу, которую Тисса сократила до двух слов:

— Свои — гребите.

То есть: мои люди будут грести, как гребли двадцать лет. А ты со своими делай что хочешь.

Я не спорил. Я, честно говоря, и не ждал другого: чужой человек на третий день пути учит тебя грести в твоей собственной лодке — я бы на его месте ответил так же, только короче.

— Кто будет считать? — спросила Тисса.

Я посмотрел на наших.

Нас было четверо. Трое на вёслах: я, она, Тавво. И Вирро, который не грёб, потому что ему было за шестьдесят, и спина у него была такая, что утром его поднимали с песка вдвоём.

— Он, — сказал я.

Тисса посмотрела на Вирро. Вирро посмотрел на меня.

Полтора месяца на Саринте с ним никто не разговаривал. Не судили, не выгнали — просто перестали замечать, как перестают замечать камень у дороги. И теперь чужой человек предлагал ему сидеть всю ночь на корме и говорить вслух так, чтобы все слышали, — и чтобы все его слушались.

Он ничего не ответил.

Он только кивнул, и отвернулся, и долго смотрел на воду, а потом я увидел, что губы у него шевелятся. Он уже считал.

***

Выходили на закате.

Пиясса выждал, пока солнце не коснётся воды, — не раньше и не позже, как будто у него были часы, — и сказал одно слово, и гребцы столкнули лодку с плиты.

Перед этим кормовой сделал одну вещь, которую я заметил и не понял.

Он зачерпнул горстью воды из нашего горшка — пресной, той, которую я только что считал до кружки, — и вылил её за борт. Не в сторону, а прямо перед носом лодки, туда, куда мы пойдём. Что-то сказал, негромко. Потом вытер руку о бедро и сел на своё место.

Никто на это не обратил внимания. Для них это было как

для нас перекреститься на дорогу — или как для меня постучать по баллону перед спуском, чего я не делал никогда и всё равно делал каждый раз.

Я только отметил, что горсть воды он отдал из нашего горшка, а не из своего.

И не знаю до сих пор, было ли это случайно.

Первый час шли вдоль скалы, потом скала кончилась, и берега не осталось.

Вот этого я не ожидал от себя.

Я восемнадцать лет в воде. Я ходил ночью в открытом море столько раз, что перестал считать, и ни разу мне не было от этого ни страшно, ни странно. Темнота над водой — рабочая среда, как для шахтёра темнота под землёй.

Но всегда что-то было.

Всегда. Компас на руке. Приёмник GPS на катере. Рация. Огни на берегу, огни судов, створные знаки, маяк, который мигает своим собственным почерком и которого нельзя спутать ни с каким другим. Спутник над головой, который знает, где ты, лучше, чем ты сам. Всегда был кто-то, кто в случае чего знает, где ты, и придёт.

Здесь не было ничего.

Солнце ушло, и через полчаса за кормой осталась чёрная вода, и впереди чёрная вода, и по бокам чёрная вода, и над ней небо, и больше не было ничего во всём мире — ни одной точки, про которую можно было бы сказать: вот это стоит на месте.

Двенадцать человек в деревянной скорлупе, и один из них знает дорогу.

Или думает, что знает.

Я посмотрел на Тиссу.

Она гребла, и гребла хорошо, ровно, но голова у неё была повёрнута назад — туда, где полчаса назад была скала и где теперь не было ничего. Она смотрела туда так, как смотрят на дверь, которую за тобой закрыли.

Я понял, что она никогда в жизни не была там, где не видно земли.

Ни разу. Двадцать лет на острове, с которого со всех сторон видно другие острова. Даже в тумане. Даже ночью — ночью на островах горят огни, а если не горят, то всё равно знаешь, что вот там, за чёрным, лежит Амурга, а вон там — Керо. Земля всегда есть. Её просто не всегда видно.

А здесь её не было.

Она почувствовала, что я смотрю, и отвернулась вперёд, и больше назад не оглядывалась ни разу за всю ночь. Я это знаю, потому что проверял.

«Товарищи курсанты. Темнота ничего не прячет. Всё, что было днём, осталось на месте. Темнота отнимает у вас одно чувство из пяти — и вы очень быстро узнаете, что четыре оставшихся вам никто не тренировал. Я тоже не буду. Мне за это не платят».

Это был Гуляев, четвёртый курс, зачёт по ночному ориентированию, который мы сдавали в лесу под Выборгом с

компасами и фонарями. Он сказал это на построении перед выходом, скучно, глядя в бумажку, и мы, конечно, поржали, потому что у нас были компасы и фонари.

Я вспомнил это в лодке и решил, что понял.

Я ошибся. Понял я это только под утро, и совсем не так.

***

Кормовой правил по звёздам.

Это я понял быстро, через час, когда глаза привыкли. Он сидел на корме, держал рулевое весло под мышкой, почти не глядя на воду, и смотрел вперёд и чуть вверх. И время от времени чуть подправлял ход — на полкорпуса, не больше.

Я, естественно, первым делом полез искать Полярную.

Рефлекс. Ковш — от двух крайних звёзд пять расстояний вверх — Полярная. Этому учат на первом курсе, на мореходной астрономии, в первую же неделю, и преподаватель говорит, что это единственная звезда, которую штурман обязан найти пьяным, раненым и спросонья, потому что она одна стоит на месте, а все остальные ходят вокруг неё.

Ковш я нашёл.

Ковш стоял не там.

Он стоял выше, чем должен был в сентябре, и почти не опускался к горизонту. Я отмерил от его края пять расстояний — и Полярная была там. Та же самая, не ярче и не тусклее, ровно там, где ей положено быть относительно ковша.

Только небо поворачивалось не вокруг неё.

Она ходила по кругу вместе со всеми, а неподвижная точ-

ка была в стороне, между ковшом и маленьким ковшом, там, куда я раньше не смотрел.

Я смотрел туда долго и не сразу разглядел, что место не пустое. В нём стояла звезда — тусклая, ничем не примечательная, такая, какую не найдёшь ни спросонья, ни раненым, ни пьяным.

Небо поворачивалось вокруг неё.

Я заметил это ещё на Саринте, в одну из первых ночей, когда не мог лечь на обожжённую спину и сидел до рассвета, глядя вверх, потому что больше смотреть было некуда. Заметил и отложил. Я тогда откладывал всё, что нельзя было выпить, съесть или перевязать.

Теперь отложить не получилось.

Я знал, почему так. Помнил слово — прецессия. Помнил, что земная ось ходит по кругу, медленно, за двадцать с чем-то тысяч лет, и что Полярная станет Полярной только через много веков после того, как здесь всё кончится. Помнил это так, как помнят ответ на вопрос из кроссворда: слово есть, а что с ним делать — нет.

Здесь на месте стояла не та звезда.

А значит, кормовой правил не по ней.

Я смотрел на него час, прежде чем понял, по чему.

Он правил не на одну звезду. Он правил на ту, что встаёт. Низко над водой, впереди, прямо по курсу, всходила звезда — и он держал нос на неё, пока она не поднималась на две ладони над горизонтом. Потом она уходила вверх и в сторо-

ну, и становилась бесполезной, а на её место, в ту же точку на горизонте, всходила следующая. И он перекладывал нос на неё.

Одна за другой. Как ступени.

Он знал, какая встанет следующей. Знал порядок. Знал, где на горизонте эта точка.

Это была дорога. Записанная не на шнуре и не на глине — в голове у немолодого человека с кривыми от весла пальцами, которого я три дня назад считал плохим кормщиком, потому что он неровно сажал лодку на волну.

Первой из этих ступеней, в самом начале ночи, прямо по курсу, всходила тесная кучка мелких звёзд.

Я её знал. Стожары. Плеяды. Та, про которую не знаешь, сколько в ней звёзд, пока не начнёшь считать.

Мы шли прямо на неё.

***

Счёт начался через четверть часа после выхода.

Вирро сидел на корме рядом с кормовым, сгорбившись, накрыв колени шкурой, и считал вслух. На островном, на своём — тем говором, каким на Саринте считают коз и мерки: раз, два, три, и дальше до десяти, а на десятом — короткое слово, после которого снова раз.

Пятьдесят десятков — меняемся.

Я, Тисса, Тавво. Двое гребут, третий сидит. Через пятьдесят десятков сидящий садится на весло, а один из гребцов уходит отдыхать. Каждый гребёт сто десятков подряд и от-

дыхает пятьдесят.

Я выбрал это не с потолка. Я выбрал это так, чтобы отдыха было ровно столько, сколько нужно, чтобы тело не остыло. Сломанные рёбра у меня за три недели срослись настолько, чтобы грести, но не настолько, чтобы грести без счёта: в какой-то момент я понял, что про себя считаю не гребки, а удары в левом боку, и заставил себя переключиться обратно на голос Вирро.

Голос у него был сухой, невыразительный, как у человека, который всю жизнь говорил на кругу и привык, что его слушают.

И его слушали.

Шестеро Пияссиных гребли по-своему. Рывок — остановка. Они шли быстрее нас, и первые два часа это было заметно: их борт тянул сильнее, и кормовому приходилось поправлять. Потом они разом бросали вёсла, пили, переговаривались, кто-то смеялся. Лодка теряла ход и начинала валиться на бок на зыби, и кормовой её ловил. Потом снова.

На третьем часу их остановки стали длиннее.

На четвёртом — ещё длиннее, и во время очередной я заметил, что двое молодых так и не взялись за вёсла, когда остальные взялись, и старшему пришлось на них рыкнуть.

А Вирро считал.

Пятьдесят десятков. Меняемся. Раз, два, три.

Наш борт шёл ровно. Не быстро, но ровно, без единой остановки, и в темноте, где не видно ничего, кроме звёзд,

очень хорошо слышно, какой борт гребёт, а какой — нет.

К середине ночи Пиясса перебрался с носа на корму.

Он сел рядом с Вирро. Послушал. Посмотрел на своих гребцов, которые в этот момент стояли — в третий раз за последний час. Посмотрел на наш борт.

Потом сказал своим несколько слов.

Короткие слова, без выражения. И шестеро его людей, не споря и не переглядываясь, разделились: двое ушли на дно лодки, четверо взялись за вёсла. И когда Вирро в следующий раз сказал «меняемся», один из четверых встал и уступил место одному из двоих.

Пиясса ничего мне не сказал. Ни тогда, ни утром, ни через неделю.

Он просто пересел обратно на нос. А я грёб и думал, что это, наверное, самое большое, что я сделал за три дня: я не выменял ни меры зерна и не узнал ничего, чего не знал бы Пиясса, но двенадцать человек в этой лодке теперь дышали в одном ритме, и отсчитывал этот ритм старик, с которым на его собственном острове никто не разговаривает.

Через год это будет стоить больше, чем шесть слитков меди.

Но через год — это через год.

***

Около полуночи кормовой что-то крикнул.

Не громко. Коротко, два слова, в сторону гребцов. Правый борт сбил темп, левый пошёл сильнее, лодку повело, кормо-

вой выровнял, и через минуту всё было как прежде.

Я не понял ни слова.

И не понял, что произошло: волна? течение? что-то увидел? Я смотрел на воду и не видел ничего, кроме черноты и звёзд в ней.

— Что он сказал? — спросил я Тиссу.

Она ответила сразу. Не переспрашивая и не задумываясь, на ходу, между двумя гребками:

— Сносит. Вправо. Он держит.

Я кивнул.

И забыл.

Вот тут надо остановиться, потому что тогда я не остановился.

Кормовой говорил не на островном. Он говорил на своём — на том восточном наречии, из которого я за три дня понял, может, десять слов, и все десять были «вода», «еда», «нет», «сидеть» и прочее в том же роде. Тисса этого наречия не знала. Никто на Саринте его толком не знал: Акар, который тридцать лет с ними торговал, да немного Кинт, — и оба, как выяснилось, хуже, чем думали.

А за три дня она набрала столько, что поняла команду кормового быстрее, чем я успел её услышать.

Как — не представляю. Она не спрашивала при мне ни одного слова. Она не повторяла их вслух, не просила объяснить, не записывала — записывать тут, впрочем, некому и нечем. Она просто сидела третьей справа, гребла и слушала.

Слушала, как Пияссины гребцы говорят между собой, как ругаются, как шутят, как старший рыкает на молодых. Три дня.

А я эти три дня сидел четвёртым слева и считал, где у кормового ошибка.

И вот первый раз я спросил её не про островной. Про язык, которого три дня назад она не знала так же, как я.

Не у Пияссы через неё. Не у пленного через Кинта. У неё — и она ответила так, будто это само собой. Будто так было всегда.

Я тогда ничего этого не подумал. Я кивнул, взялся за весло и стал грести, и через минуту думал уже о том, что если сносит вправо, то течение идёт на юг, а значит, к утру мы окажемся южнее, чем думает Пиясса, и надо бы это проверить.

Я не заметил, что только что отдал ей свои уши.

Через полтора месяца я заплачу за то, что не заметил, и заплачу по полной. Но тогда я грёб, и мне было хорошо, потому что наш борт шёл ровно, а голова была занята течением.

***

Компас я начал делать около часа ночи.

Мысль сидела во мне с вечера — с той минуты, как я нашёл Полярную и понял, что она мне ни к чему. Она стояла там же, где всегда, относительно ковша, и при этом не стояла на месте. А на месте, вокруг которого ходило всё остальное, висела тусклая дрянь, которую не найдёшь ни спросонья, ни

раненым, ни пьяным и по которой не выправишь курс. Звезда, которая держит север, тут для человека всё равно что не существует.

А главное — дело даже не в ней. Если небо закроет, не станет видно ни её, ни ковша, ни его лестницы: облака гасят всё сразу, и совершенно неважно, что именно стоит у полюса. Значит, этот кормовой, со всей его лестницей звёзд, в облачную ночь слепой.

А я знаю, как сделать так, чтобы не был.

Это же самая простая вещь на свете. Игла. Щепка. Чаша с водой. Иглу намагнитить, положить на щепку, щепку пустить по воде — и игла развернётся на север. Каждый школьник. Я сам в пятом классе делал такое на уроке природоведения из швейной иглы и пробки, и учительница поставила пять.

Когда настала моя очередь отдыхать, я перебрался на дно лодки, к мешку.

Щепку отколол от доски под банкой обломком ножа.

Чашу попросил у Тиссы — ту, из которой она черпала воду, глиняную, с отбитым краем. Она дала молча, не спрашивая, зачем. Налил воды на два пальца — из своей доли.

Оставалась игла.

И вот тут я сел и долго смотрел на то, что у меня есть.

Медь. Шесть слитков, и медное шило у Пияссы. Медь не магнитится. Никак. Вообще. Это я помнил твёрдо.

Обсидиан. Стекло. Нет.

Кость. Нет.

Железа тут нет. Нигде. Ни в одной лодке, ни на одном острове этого моря, ни у кого на всём восточном берегу. Обычным железо здесь станет через полторы тысячи лет. А сейчас его нет вовсе — разве что камень, упавший с неба, который никто не отличит от любого другого.

И ещё был нож.

Точнее, то, что от него осталось: рукоять с огрызком лезвия на четыре пальца и вторая половина, которую нашли уже после, отдельно, сантиметров десять, с зазубренным краем. Две части, которые нечем соединить.

Я взял вторую половину в руку.

Титан.

В Мурманске, в маленьком магазине в полуподвале, продавец — пожилой, из бывших водолазов, с белыми рубцами от строп на запястьях — выложил его на прилавок и сказал одну фразу, которую я запомнил лучше, чем цену. Он сказал: титан не тянет компас. Сталь рядом с компасом врёт, а этот можно носить на ноге и не думать.

Я его носил восемь лет и не думал.

Единственный кусок металла из моего мира, который у меня остался, я выбрал когда-то ровно за то, что он не годится для компаса.

Я сидел на дне лодки, в темноте, с чашкой воды в одной руке и обломком титана в другой, и мне было смешно так, как бывает смешно только ночью от усталости.

А потом я всё-таки положил его на щепку.

Не знаю зачем. Наверное, затем, зачем Вирро считал, а кормовой лил воду за борт перед носом лодки: руки должны что-то делать, когда голова ничего сделать не может. Или затем, чтобы показать Тиссе принцип: вот так это работает, если бы было из чего.

Щепку с обломком я пустил в чашу.

Щепка повернулась.

Она, конечно, повернулась. Лодку качало, вода в чаше ходила от края к краю, и щепка ходила вместе с водой — туда, обратно, по кругу. Никакой север тут был ни при чём.

Я держал чашу двумя руками, стараясь держать её ровно, и смотрел.

Щепка остановилась.

Постояла. Потом лодка качнулась, и её повело, и она снова стала поворачиваться — медленно, против хода часовой стрелки, — и снова остановилась.

Мне показалось, что там же, где в первый раз.

Я повернул чашу на четверть круга.

Щепку повело вместе с водой. Потом — мне показалось — она поползла обратно.

Мне показалось.

Я сидел над этой чашей минут двадцать. Поворачивал. Ждал. Лодку качало; то, что я принимал за север, на следующей волне оказывалось просто тем местом, куда стекала вода в наклонённой чаше. В темноте я не видел даже, куда смотрит конец обломка, — только чувствовал пальцами, ко-

гда касался щепки.

Титан не магнитится. Это я знал. Это я знал так же твёрдо, как то, что медь не магнитится, а вода мокрая.

Я помнил принцип. Я не помнил условий: сколько нужно тереть и чем, и что делать, если нечем, и бывает ли так, чтобы металл, который не может держать поле, всё-таки его держал, — и если бывает, то когда. И отчего. И не был ли на сорока двух метрах, у той расщелины, на моей левой ноге этот самый нож, когда компас на моей руке начал вращаться — ровно, один оборот в две секунды.

Я не знал.

Я выплеснул воду за борт.

Чашу вернул Тиссе. Она посмотрела на меня, потом на чашу, и опять ничего не спросила.

А потом Вирро сказал «меняемся», и я пошёл на весло.

***

К трём часам ночи Вирро начал сдавать.

Голос у него сел. Не сразу — сначала стал тише, потом появилась хрипотца, потом он стал сбиваться: на седьмом десятке сказал «шесть» и поправился, на двадцать первом повторил «двадцать» дважды. Никто на это не обратил внимания, кроме меня и, как оказалось, Тавво.

Тавво в тот момент отдыхал.

Он встал со дна лодки, перешагнул через ноги гребцов, взял наш горшок, налил в чашу воды — той, которую я считал до кружки, — и подал Вирро.

Не говоря ни слова.

Вирро взял, выпил и отдал чашу. Тоже ничего не сказал. И продолжил считать с того места, где сбился, — ровно, как будто и не сбивался.

А Тавво сел рядом с ним на корме.

Они сидели рядом и молчали: старик, у которого под застёгнутой рубахой четыре линии, и мальчишка, у которого под рубахой — три. Один полжизни уговаривал остров платить, потому что так безопаснее. Второго остров отдал в уплату, и он вернулся с номером на груди.

Я смотрел на них с весла и ждал, что кто-то из них скажет что-нибудь.

Никто ничего не сказал. Вирро считал. Тавво смотрел на воду.

А на пятидесятом десятке Тавво встал и пошёл на весло, и по дороге коротко коснулся плеча Вирро. То ли опёрся, чтобы не упасть на качке. То ли нет.

***

Под утро, в самую тёмную пору, мы с Тиссой оказались на носу вдвоём.

Так вышло по счёту: у обоих был отдых, и на дне лодки было тесно от спящих Пияссиных, и мы перебрались вперёд, на маленькую площадку перед первой банкой, где можно было сидеть, упёршись спиной в борт.

Стожары стояли уже высоко, почти над головой, и уходили вправо. Мы шли на них в начале ночи, а они тем време-

нем обошли нас поверху.

Она сидела, подтянув колени, и смотрела на них.

Я тоже смотрел.

— Сколько? — спросил я. Кивнул на кучку.

Она посмотрела на меня удивлённо, как будто я спросил, сколько у неё пальцев. Потом стала считать.

Она считала по-своему. Так, как Ниссо считает на своём камне: кучками по пять. Беззвучно шевелила губами, и я видел, как у неё на колене под пальцами складываются невидимые кучки, совсем как у него.

— Семь, — сказала она.

Я пересчитал сам. Десятками, как привык, хотя до десятка там было далеко.

Шесть.

Я пересчитал ещё раз. Шесть. Пять ярких и одна рядом, потусклее. Больше не было. Я щурился, отводил глаза чуть в сторону, как учили смотреть в темноту, — боковым зрением видно больше, — и всё равно шесть.

— Шесть, — сказал я.

Она посмотрела на меня. Потом снова на небо. Потом показала пальцем — туда, в край кучки, чуть ниже:

— Вот.

Я не видел.

Я смотрел туда, куда она показывала, и видел черноту. У неё были глаза двадцатилетней, которая ни разу в жизни не смотрела в экран. У меня — тридцатишестилетнего, которо-

му восемнадцать лет соль и маска выедали глаза и который всё это время смотрел не на звёзды, а в прибор.

— Не вижу, — сказал я.

— Есть, — сказала она.

И всё.

Она не стала доказывать, и я не стал. Мы сидели на носу и смотрели на одну и ту же кучку звёзд, в которой у неё было семь, а у меня шесть, и оба знали, что оба правы.

Она сказала, как это называется у них. Одно слово, которое означало что-то вроде «выводок» — козий, как я понял, или птичий. Я сказал, как у нас: Стожары. Она повторила, неправильно, с ударением не туда, и засмеялась.

Потом замолчала.

Мы сидели рядом. Не касались. Между её коленом и моим было расстояние в ладонь, и я его очень хорошо чувствовал, как чувствуют сквозняк.

Ничего не происходило.

Иначе это не описать. Ничего не происходило — и я знал, что ничего не происходит, и она знала, что я знаю, и вот это «ничего» сидело между нами, как третий человек, и было заметнее, чем если бы что-нибудь произошло.

Она первая отвела глаза. Потом Вирро сказал «меняемся», и она встала и пошла на весло, и по дороге не обернулась.

А я остался считать звёзды.

Их было шесть.

***

Перед рассветом небо затянуло.

Не облаками — дымкой, высокой и тонкой, какая бывает в этих местах в начале осени. Звёзды не исчезли сразу, они стали бледнеть, одна за другой, начиная от горизонта, и через полчаса пропали все, кроме самых ярких над головой.

А те, что внизу, — те, по которым правил кормовой, — пропали первыми.

Я увидел, как он это заметил.

Он перестал смотреть вперёд и вверх. Смотрел теперь в воду — на зыбь, как она подходит к борту. Потом снова вверх. Потом опять на воду. Рулевое весло в его руках двигалось чаще и неуверенней, и лодку раз и другой повело то в одну сторону, то в другую.

Пиясса перебрался к нему на корму.

Они говорили вполголоса. Быстро. Я не понимал ни слова, но понимал интонацию, потому что интонацию на любом языке узнаёшь раньше слов, и интонация была такая: «Ты уверен?» — «Нет».

Тисса перестала грести.

— Что? — спросил я.

Она слушала. Потом сказала:

— Он не знает, где мы.

Сказала спокойно, без страха, просто как факт, и снова взялась за весло.

Вот тут мне впервые за всю ночь стало по-настоящему

нехорошо.

Двенадцать человек. Горшки с водой на полтора дня. Ни звёзд, ни берега, ни компаса. Течение, которое сносит к югу, и никто не знает, насколько. Если кормовой ошибся на румб — к утру промахнёмся на несколько миль. Если на два — можем уйти в пустую воду, между двумя берегами, и грести весь день, не видя ни одного.

Я знал, как это бывает. Я знал это так, как знает водолаз: не видишь дна, не видишь поверхности, не знаешь, где верх, — и единственное, что у тебя есть, это пузыри, которые всегда идут вверх.

Здесь пузырей не было.

И вот тогда кормовой сделал то, от чего я перестал грести второй раз за этот рейс.

Он поднял лицо.

Не к небу. Просто поднял — чуть вверх и вбок, как поднимает морду собака. Закрыл глаза. И долго, медленно втянул воздух носом.

Потом ещё раз, повернув голову левее.

Потом сказал Пияссе одно слово и переложил весло — не на полкорпуса, как всю ночь, а сильно, на два румба влево.

— Что он сказал? — спросил я у Тиссы. Второй раз за ночь.

Она сама, кажется, не поверила, но перевела:

— Дым.

Я втянул воздух.

Ничего. Соль. Пот двенадцати человек. Мокрое дерево. Рыба из горшка. Больше ничего.

Я втягивал ещё раз, и ещё, и так и не почуял ничего, пока не рассвело.

Темнота отнимает у вас одно чувство из пяти, и вы узнаете, что четыре оставшихся вам никто не тренировал.

Вот теперь я понял, что он имел в виду. Понял через пятнадцать лет, на чужой лодке, глядя на человека, который не учился ни в каком институте и которого я три дня назад счёл плохим кормщиком.

Гуляев говорил не про фонари и компасы.

Он говорил про то, что у человека, который всю жизнь полагается на прибор, остальные чувства не отнимаются темнотой. Они у него отняты давно. Просто он этого не замечает, пока светло.

Шли ли мы туда, куда шли бы по звёздам, или кормовой спас нас в ту ночь, — я не знаю. Я спросил Пияссу, уже на берегу. Он пожал плечами и сказал, что берег большой: куда ни греби — попадёшь.

Может быть, он был прав. Может быть, он просто не хотел говорить про это с чужим.

***

Рассвело быстро, как всегда на юге.

Сначала посерело небо на востоке, прямо по носу. Потом посерела вода. Дымка стала светиться изнутри, розово и мутно, и сквозь неё ничего не было видно.

Я сидел на весле. Вирро досчитал очередные пятьдесят десятков, сказал «меняемся» и замолчал, не начав заново. Голоса у него к тому времени почти не осталось, и слово он скорее прошептал, чем сказал.

Никто не встал меняться.

Потому что все смотрели вперёд.

Дымка разошлась не сразу. Сначала в ней проступила тёмная полоса, низкая, прямо по курсу, — и я решил, что это ещё один остров, и почувствовал разочарование, такое детское, что сам себе удивился.

Потом полоса стала шире.

И ещё шире.

Она уходила влево. И уходила вправо. И я поворачивал голову сначала в одну сторону, потом в другую, ожидая, что сейчас, вот сейчас, увижу, где она кончается, где у неё край, за которым снова вода, как у любого острова в этом море.

Края не было.

Она уходила влево до самого горизонта и там растворялась в дымке. И вправо — тоже до горизонта. А над ней, выше, за низким берегом, поднималось что-то ещё: складка за складкой, всё выше и всё темнее, и эти складки были не серые и не бурые, как всё, к чему я привык за два с половиной месяца.

Они были зелёные. Тёмно-зелёные, почти чёрные.

Лес.

Не кустарник, не маквис, не колючка по склонам. Лес. Де-

ревья, стоящие так густо, что за ними не видно земли, и уходящие вверх, за первую гряду холмов, за вторую, в дымку, туда, где не видно уже ничего.

Тисса перестала грести и смотрела на это с открытым ртом. Тавво встал в лодке во весь рост. Вирро на корме сидел неподвижно, положив руки на колени, и я не видел его лица.

Пияссины гребцы не смотрели. Для них это был просто берег, на который они вернулись домой.

А я смотрел на лес, и первое, о чём подумал, было не то, о чём полагается думать человеку, впервые за два с половиной месяца увидевшему деревья.

Я не подумал, что это красиво. Не подумал, что это конец дороги. Не подумал даже, что мы дошли.

Я подумал: дрова.

Столько дров, сколько весь Саринт не сжёг бы за сто лет. Топливо — для печей, для очагов, для того, чтобы обжигать камень.

А из обожжённого известняка получается известь.

А известью можно замазать яму так, чтобы она держала воду.

Я сидел на весле, мокрый, с ноющими рёбрами, с обломком титана где-то на дне мешка, и считал деревья на чужом берегу так, как считают деньги.

Глава 4. Земля, у которой нет края

Первое, что даёт материк, — это запах.

Мы шли к нему ещё часа два после рассвета, и всё это

время он шёл нам навстречу. Сначала дым — не костёр, а много костров сразу, ровный дымный дух, какой стоит над посёлком, где топят каждый день и помногу. Потом к дыму добавилось другое: земля. Мокрая земля, гниющий камыш, навоз, что-то сладковатое и тухлое, что-то кислое.

На Саринте пахнет тремя вещами: солью, камнем и козой.

Здесь пахло сорока.

Я сидел на весле и ловил этот запах, как ловят, обшаривая незнакомое помещение фонарём, и ничего не мог с ним сделать, потому что не узнавал ни одного источника. Дым — понятно. Навоз — понятно, хотя такого количества навоза я в этом мире ещё не встречал. А остальное? Что горит, чтобы пахло так сладко? Что гниёт?

Три месяца назад я бы сказал: болото, скотный двор, кожевня.

Теперь я не мог сказать ничего, потому что за три месяца отвык от мира, в котором больше десяти запахов.

Берег приближался, и я начал его читать.

Низкий. Плоский. Песок, за песком тростник, за тростником — зелёное, густое, и дальше, вглубь, складки холмов, и на них лес.

Ни одного обрыва. Ни одной белой скалы.

Я три месяца прожил там, где берег — это стена, в которую море бьёт, и где всё живое лепится к этой стене сверху. Здесь стены не было. Здесь море просто кончалось, и начиналась земля, и никакого спора между ними не было, и это

было странно до неприличия.

Тисса гребла и смотрела вперёд, и лицо у неё было такое, будто она ждёт подвоха.

А потом берег раздвинулся, и в нём оказалась дыра.

Река.

***

Про реку надо объяснить, иначе будет непонятно, что с нами со всеми случилось.

На Саринте нет рек.

На Саринте есть источник в расщелине, дающий, в хороший год, восемьдесят черпаков в сутки, и за этот источник три недели назад умерло двадцать три человека. Я полтора месяца считал воду кружками. Я выдавал её при всех, на плоском камне, и рядом сидел мальчишка с камешками, и любой мог пересчитать.

И вот мы вошли в устье, и по обе стороны от лодки пошла вода, которой было всё равно.

Она шла мимо нас, широкая, мутная, бурая, с ветками и пеной, и шла безостановочно, и её было столько, что за то время, пока я моргаю, мимо проходило больше, чем весь Саринт выпивал за год.

Тавво бросил весло.

Просто бросил — вынул из воды, положил на колени и уставился за борт. Старший из Пияссиных гребцов рявкнул на него, но не зло: он, я думаю, такое видел не первый раз.

Вирро перегнулся через борт, зачерпнул ладонью и по-

пробовал.

И заплакал.

Не зарыдал — просто у шестидесятилетнего человека потекло из глаз, и он вытер лицо тыльной стороной руки, и никто на него не посмотрел, включая меня. Я отвернулся и стал смотреть на противоположный берег, где стояли какие-то птицы.

Пресная вода. Бесконечная. Которую можно пить сколько хочешь, и завтра её будет столько же.

Потом Тисса зачерпнула тоже, и попила, и стала пить ещё, и вот тут я наконец включился.

— Стой, — сказал я.

Слишком поздно и слишком тихо. Она уже пила. И Тавво пил, черпая горстью прямо на ходу, и один из Пияссиных, глядя на них, тоже.

Я смотрел на эту бурую воду и считал.

Река течёт сверху вниз. Мы идём снизу вверх. Выше по реке — то, что дымит на весь берег: посёлок, скот, люди. Всё, что они выливают и выбрасывают, идёт по этой воде мимо нас, и его не видно, потому что оно растворено.

Я знал это наизусть. Меня этому учили так, что я мог бы разбуди меня ночью рассказать, чем именно человек убивает человека в таких местах, — и это не нож.

Я знал — и не сумел сказать вовремя. Четыреста слов, из которых нет ни одного для «зараза», «кипятить», «выше по течению».

Я сказал Тиссе всё, что мог: «плохая вода», «не пей», «больной живот». Она посмотрела на меня, потом на реку, потом снова на меня — и я увидел в её глазах ровно то, что должен был увидеть.

Вода, которой можно напиться. Впервые в жизни. И чужак говорит, что её нельзя.

Она не стала пить дальше. Но не потому, что поверила.

Через одиннадцать дней у Вирро начнётся кровавый понос, и я буду сидеть с ним ночами и точно знать, чего именно не хватает, и это будет одна из тех вещей, которые я не прощу себе до конца.

***

До Алланды мы шли вверх по реке почти полдня.

Грести против течения — отдельная работа, но шли мы не только на вёслах. Пиясса держался у правого берега, где течение слабее, и время от времени его люди выскакивали в воду по пояс и тянули лодку бечевой, шлёпая по илу, и это было для них так же обычно, как для меня надеть маску.

А потом я увидел парус.

Нас обогнала лодка — короткая, пузатая, ничем не похожая на варду: борта выше, нос тупой, и посередине торчала палка в рост человека.

На палке висела циновка.

Обыкновенная плетёная циновка, кривая, с обтрёпанным низом, растянутая между палкой и поперечной жердиной. Ветер с моря дул нам в спину, в неё, — и она тянула эту лод-

ку вверх по реке против течения быстрее, чем мы шли на вёслах, и два человека в ней не гребли вовсе. Один сидел на корме с веслом, второй лежал.

Я смотрел на неё, наверное, целую минуту.

Я смотрел дольше, чем прилично, — так, что старший гребец обернулся посмотреть, на что я уставился, не увидел ничего интересного и отвернулся.

Вот что надо понимать.

Три месяца я носил в голове список.

Список того, что я знаю, а они нет. Он у меня был не на глине — в голове, и я его перебирал ночами, как скупой перебирает своё: известь, которая держит воду. Мыло. Колесо. Рычаг. Блок. Лук. Обжиг. Бронза, до которой я всё равно не дотянусь. И парус.

Парус стоял в этом списке высоко. Я его берёг. Я думал, как объяснить, из чего шить, как ставить мачту в долблёный корпус, чтобы не вывернуло днище, как держать курс без киля.

А он тут был.

Не в секрете. Не в мечте. Висел кривой циновкой на палке в лодке, которой правил мужик, лежавший на дне кверху животом.

Я спросил у Пияссы — через Тиссу, сбивчиво, — давно ли так ходят.

Пиясса не понял вопроса.

Я переспросил иначе: кто первый придумал? Он пожал

плечами и сказал что-то, что Тисса перевела как «всегда».

Я спросил третье: почему так не ходят у нас, на островах?

И вот тут он ответил длинно, и ответ был не про чудо, а про дело, и я половину не понял, а вторую половину понял слишком хорошо.

Ветер тут — с моря, вверх по реке, и дует почти каждый день в одну сторону. Река держит лодку на месте, стоит только бросить весло. Берега близко: если понесло — упёрся шестом.

А на нашем море ветер дует не туда, куда нужно тебе, а туда, куда ему надо, и берега ты не видишь, и лодка у нас — долблёная варда, узкая, без киля, с низкими бортами, которую такая циновка при боковом ветре положит на воду быстрее, чем ты успеешь встать.

То есть: парус не выдумка. Парус — это не то, чего они не знают.

Это то, что им не годится.

Я сидел, грёб и переваривал.

Двадцать лет моей службы стояли на простой вещи: у меня всегда было снаряжение лучше, чем у того, кто передо мной. Не умнее — лучше. И вот я сижу в чужой лодке, с головой, набитой вещами из будущего, и оказывается, что главная из них тут давно есть, просто лежит не там, где я думал, и работает только там, где ей удобно.

Я тогда сформулировал это грубо и, в общем, правильно.

Я не привёз им будущего. Я привёз им то же самое, что у

них есть, только собранное в другом порядке.

Вопрос в том, кому и за сколько я сумею объяснить этот порядок.

***

Алланда открылась за излучиной, и я не сразу понял, что это она.

Я ждал посёлка. Я видел посёлки в этом мире: двадцать два двора, терраса, тропа наверх. Я жил в таком и считал его большим.

Здесь вдоль берега стояло то, что я насчитал в двести с лишним дворов, и это был не весь город, потому что за первым рядом шёл второй, а за вторым что-то ещё, и дым поднимался и оттуда.

Я стал считать, потому что всегда считаю.

Печей — я насчитал девять, и это только те, что видно с воды: приземистые, глиняные, с чёрными зевами, и возле каждой горы черепков. Навесов вдоль берега — четырнадцать. Лодок на берегу — сорок с чем-то, и я бросил на сорок втором. Собак — не сосчитал. Людей на берегу в один момент времени — больше сотни, и это в обычный день, не в праздник и не в торг.

Осликов.

Я, наверное, минуту смотрел на осла.

Маленький, серый, с мешками по бокам, шёл по берегу за мальчишкой, переступая копытами по грязи. На Саринте нет вьючных животных. На Саринте есть человек, на кото-

ром носят, и коза, которую едят. Всё, что нужно поднять наверх, поднимают на спине.

А тут ходило животное, которое несёт два мешка и не жалуется.

И телега. Настоящая, на двух колёсах — колёса сплошные, из трёх плах, сбитых скобами, и вращались они вместе с осью, и скрипели так, что было слышно с воды. Её тянули два быка. В телеге лежал камень.

Я смотрел на это колесо и думал не «ага, колесо». Я думал: обожжённый камень возят телегами. Значит, есть чем возить. Значит, если я найду известняк и дрова, вопрос будет не в том, как поднять, а в том, чем платить.

А за всем этим, выше по течению, стояло облако дыма, отдельное от прочих. Оно стояло низко, желтоватое, и от него тянуло тем самым кислым.

Медь.

Не здесь. Дальше, где-то за излучиной. Но близко.

Пиясса показал туда подбородком и сказал Тиссе слово, которое она мне повторила, и я его тогда не разобрал и попросил повторить ещё раз, и не разобрал снова.

Слово было не из тех, что я знал. И не из тех, что можно было выучить за день.

***

Мы сдавали груз до вечера.

Точнее, сдавал Пиясса. Мы носили.

Это, кстати, было правильно, и я на это пошёл сам: четве-

ро чужих, стоящих без дела на чужой пристани, — это четверо чужих. Четверо, таскающих мешки, — это работники, и на них перестают смотреть через полчаса.

Носили мы к длинному навесу шагах в тридцати от воды. Под навесом стояли питты — не по семь во дворе, как на Танде, а в три ряда, врытые по плечи, и их было столько, что я сбился и начал заново.

Восемьдесят четыре.

Восемьдесят четыре питты в одном сарае. На Саринте столько нет на всём острове.

И вот тут я увидел, как это работает.

У навеса сидел человек. Немолодой, толстый в поясе, в чистой рубахе — я к тому времени уже понимал, что чистая рубаха тут означает не аккуратность, а то, что человек не работает руками.

Перед ним стояла корзина.

Обычная корзина, плетёная, довольно большая, с чёрным ободом по краю. Мешки, которые мы таскали, он не взвешивал.

Я специально смотрел, чем он их меряет, потому что первым делом искал весы. Весов не было. Нигде, ни у него, ни в округе, и я понял, что их тут нет вообще, и что до них ещё сколько-то сотен лет.

Он мерил корзиной.

Из мешка сыпали в корзину, доверху, он проводил по краю палкой, ссыпал — и завязывал узел на шнуре, который

держал на коленях. Двадцать раз корзина — и он завязывал узел покрупнее.

Корзина была его.

Вот в чём штука, и я понял это на третьем мешке. Не в том, что он считает. В том, что мера стоит у него, и другой меры нет ни у кого. Ты можешь спорить, сколько зерна у тебя в мешке, но ты не можешь спорить с корзиной.

Я стоял с мешком на плече и думал о плоском камне у чаши на Саринте, где мальчишка с камешками сидит на виду у всех, и любой может пересчитать.

Мы этой осенью додумались до этого за две недели и заплатили за это двадцатью тремя покойниками.

А здесь сидел человек с чужой корзиной, и никто даже не смотрел в его сторону.

А в конце, когда мешки кончились, он сделал ещё одну вещь.

Взял из миски комок сырой глины, размял в ладони, прилепил к обожжённой плитке — и вдавил в глину печатку, которую снял с шеи.

Я стоял в трёх шагах и успел разглядеть оттиск.

Три круга, один в другом, и косая черта через все три.

Тот самый, что на крышках трёх питт в чужом дворе на Танде. Тот самый, что на плоском камешке, снятом с шеи утонувшего предводителя, — камешке, над которым Кинт сказал «Стена» и больше ничего не смог сказать.

Я до этого дня думал, что знаков много. Что у каждого

двора, у каждого сборщика, у каждой лодки свой, и что их тут сотни.

Знак был один.

Тысяча с лишним километров воды — ну, положим, не тысяча, но четыре дня хода, три острова и ночь через открытое море — и на глине в чужом сарае стоит та же решётка, что на питтах у старухи, которая её боится.

— Спроси, чей это знак, — сказал я Тиссе.

Она спросила у Пияссы. Пиясса ответил коротко, не глядя, занятый своим.

Тисса перевела:

— Не его.

— Я понял, что не его. Чей?

Она спросила ещё раз, настойчивее, и Пиясса на этот раз обернулся и посмотрел на меня тем самым взглядом, которым смотрел на Амурге, когда я спрашивал про чёлн.

И сказал два слова.

— Тех, кто считает.

Второй раз за четыре дня. Одно и то же. На середине моря и здесь, в двухстах дворах от моря.

Я хотел спросить третье — где они сидят, эти считающие, далеко ли отсюда и как называется место, — но толстый в чистой рубахе уже прилепил свою плитку с оттиском на край питты, и вытер руки о подол, и позвал кого-то, и разговор кончился сам собой, как кончались тут все мои разговоры.

Я запомнил оттиск.

Вдавлено неглубоко и неровно: печатка была стёртая, старая — ею пользовались много лет и много где.

***

Зерно я попробовал купить сразу, как сдали последний мешок.

Я всё-таки за этим ехал.

Пиясса согласился перевести — не из доброты, я думаю, а из любопытства. Тисса пошла с нами. Мы встали перед толстым в чистой рубахе, и я положил на утоптанную глину слиток.

Медь на этом берегу видели все. Но слиток — не пластинка, не обломок, а целый слиток, три с лишним килограмма, — заставил его замолчать на секунду.

Он взял. Повертел. Поцарапал ногтем, понюхал (я это запомнил: понюхал), положил обратно.

И сказал.

Он говорил долго, и Пиясса переводил кусками, и Тисса добирала то, что Пиясса не находил на островном, и всё вместе заняло минут двадцать, и суть вышла такая.

Медь — хорошо. Медь он возьмёт.

Зерно — есть. Вон оно, восемьдесят четыре питты, и ещё столько же в других навесах, и осень была хорошая.

Но зерно не продают за медь.

Я попросил повторить. Мне повторили. Я попросил объяснить, как продают, — и вот тут пошло то, ради чего, наверное, и была нужна вся эта дорога.

Зерно уходит по счёту.

Оно всё уже записано. Не так, что вот лежит зерно, и приходит человек с товаром, и они меняются. А так: это зерно назначено дому такому-то, в счёт того, что дом такой-то отдаёт туда-то. Зерно — не товар. Зерно — это то, чем закрывают строки.

Хочешь зерно — тебя должны вписать.

А чтобы тебя вписали, у тебя должны быть две вещи: дом и строка. Дом — это кто за тебя отвечает. Строка — это то, что ты отдаёшь.

Я спросил, можно ли вписаться за медь.

Он посмотрел на меня почти сочувственно и сказал что-то вроде: медь — это не то, что отдают. Медь — это то, за чем приходят.

Я до сих пор считаю это лучшим объяснением их устройства из всего, что я об этом слышал.

У них не торговля. У них — учёт с двумя концами. На одном конце дом, который что-то должен. На другом дом, который что-то получит. Медь идёт вверх, к тем, кто считает, — и всё, что она делает по дороге, это увеличивает чей-то долг.

Человек, который приходит с медью и без дома, для них не покупатель.

Он вообще никто.

Я спросил последнее: а кто вписывает?

Он начал отвечать.

И не ответил, потому что в этот момент со стороны реки закричали — не тревожно, а как кричат, когда в воду упал мешок, — и он встал и пошёл смотреть, и на этом разговор кончился.

Я потом два месяца жалел, что не задал этот вопрос первым.

***

Тавво пропал, пока мы носили мешки.

Я обнаружил это не сразу. Носили мы вчетвером — я, он и двое Пияссиных. Вирро таскал потихоньку, и за пятого его никто не считал, включая его самого. Тисса сидела у лодки. В какой-то момент я поймал себя на том, что мешков стало приходить меньше, поднял голову и пересчитал людей.

Трое.

Дальше было то, что я до сих пор вспоминаю с нехорошим чувством, потому что я в этом деле профессионал, и профессионал в этот день не работал.

Я пошёл его искать.

По чужому берегу, в чужом городе, где я не мог спросить ни у кого ни одного вопроса.

Я знал, как это делается: обойти по кругу расширяющейся спиралью, отмечать выходы, смотреть на людей, которые смотрят на тебя. Я всё это проделал. Толку было ровно ноль, потому что весь метод держится на одном допущении: что ты можешь у кого-то что-то спросить. Хотя бы «не видели мальчишку». Хотя бы показать рост рукой.

Я показывал рост рукой.

На меня смотрели. Кто-то отвечал — длинно, непонятно, показывая в разные стороны. Кто-то отворачивался. Одна баба закричала на меня, я не понял почему.

Зато я за этот час наслушался.

Я шёл по чужому берегу, ничего не понимая, и от этого слышал больше обычного — так бывает, когда отключают одно чувство и остальные начинают работать сверхурочно.

Языков было четыре.

Я их не понимал ни одного, но различал, как различают музыку: не мелодию, а инструмент.

Первый — Пияссин. Тот самый торговый говор, на котором он объяснялся с нами: гладкий, с длинными окончаниями, с частым «х». Его было больше всего.

Второй — жёсткий, отрывистый, с придыханиями в начале слов. На нём говорили у печей и на нём же кричали через реку. Я решил, что это здешний.

Третий я услышал один раз, у дальнего навеса, — медленный, гортанный, с долгими гласными, и говорили на нём двое, и оба были в одинаковых плащах из плотной ткани. Их обходили.

А четвёртый был наш.

Я услышал его у крайней печи и сначала решил, что мне померещилось от усталости.

Островной. Тот самый, на котором я за полтора месяца выучил четыреста слов, на котором мне говорили «два чер-

пака» и «он бы дал, если бы мог». Здесь, на чужом берегу, в четырёх днях хода, у печи.

Говорили двое, перетаскивая корзины с черепками. Говорили мало, короткими кусками, и я не разобрал слов, но интонацию узнал сразу — и рост узнал, и ноги.

Босые.

Их было там, у печей, человек шесть или семь. Они таскали, а здешние в обмотках — распоряжались.

Я подошёл. Не резко, не быстро: подошёл, как подходят спросить дорогу, и сказал то единственное, что умел сказать правильно, — поздоровался по-островному и спросил про мальчишку.

Ближний ко мне поднял голову.

Ему было лет сорок. Худой, жилистый, с выгоревшими до белизны волосами и с такими же, как у нас, руками. Он посмотрел на меня, и я увидел, как он понял: я сказал на его языке.

Я, честно говоря, ждал чего угодно, только не того, что было дальше.

Он опустил голову и пошёл дальше со своей корзиной.

Второй — тот, что был ближе к печи, — даже не обернулся.

Они не боялись меня. Они не были прикованы, за ними никто не стоял с палкой, и здешний в обмотках в этот момент сидел спиной к ним шагах в двадцати.

Они просто не ответили.

Я постоял, посмотрел им в спины и пошёл дальше искать Тавво, и всю дорогу у меня в голове крутилась одна и та же мысль, которую я гнал и которая не уходила.

Я не знаю, спрашивают ли здесь имена.

Потом, уже с Тиссой, мы прошли мимо этой печи второй раз, и она с ними заговорила — не о Тавво, о другом: спросила, откуда они.

Белый ответил ей три слова и снова взялся за корзину.

Тисса перевела мне их только к ночи, и перевела неохотно.

Он сказал: «Тебе не надо».

***

С Тиссой дело пошло лучше — она спрашивала, ей отвечали, — но толку всё равно не было. Никто не видел Тавво. Или видели, но не того.

Он пришёл сам через два часа.

Пришёл со стороны реки, вверх по берегу, мокрый до пояса, весь в сером иле, с ободранной рукой.

Я подошёл к нему и остановился в двух шагах.

Я собирался — честно, я собирался — сказать ему всё, что сказал бы своему бойцу: что группа не разделяется, что в незнакомом месте человек один не ходит, что мы его два часа искали и что в следующий раз его будут искать не два часа, а до весны.

Он поднял на меня глаза.

Я ничего не сказал.

Вот почему. У него было лицо человека, который что-то нашёл и ещё не решил, что с этим делать. Не испуганное, не виноватое. Занятое.

И я понял — не рассудком, а сразу, — что если я сейчас на него надавлю, он мне ответит. Скажет что-нибудь, что-нибудь правдоподобное, и мы с ним оба будем знать, что это не всё.

А если я промолчу, он, может быть, скажет сам. Позже. Когда решит.

Я промолчал.

Тисса спросила его коротко, на своём, три слова. Он ответил одним.

Она посмотрела на меня и покачала головой: не скажет.

Он вымыл руку в реке — в этой самой реке, — сел на песок и стал ждать, когда мы пойдём дальше.

Где он был те два часа, он сказал мне сам — через месяц, вскользь и совсем по другому поводу.

***

Про Тиссу в этот день надо отдельно.

Я заметил это, когда мы носили мешки, и сначала решил, что мне кажется.

Островитяне на этом берегу — низшая порода.

Я написал бы мягче, но мягче не будет правдой. Это видно сразу, как видно породу собаки. Здешние — крупнее. Не выше на голову, но шире в кости, тяжелее, с другими лицами. Они едят хлеб каждый день, и мясо не только по празд-

никам, и они выросли там, где еда бывает.

Наши рядом с ними выглядели как подростки.

Тавво в свои семнадцать был ростом с местного мальчишку лет тринадцати. Я, который на Саринте был самым крупным мужиком на острове, здесь был обычным — и это при том, что я вырос в мире с молоком, мясом и поликлиникой.

И ещё ноги.

Здешние ходили в чём-то на ногах: обмотки, кожа, подобие обуви. Наши были босые. Все. Всегда. У Тиссы подошвы такие, что она ходит по щебню, не глядя под ноги.

Здесь это заметили быстрее, чем я.

Мужик, который принимал мешки, посмотрел на её ноги, потом на лицо, потом сказал что-то соседу. Тот засмеялся.

Тисса поняла. Я — нет.

Она не изменилась в лице. Ни на волос. Она донесла свой мешок, поставила, вернулась — и всё это время у неё было ровно то же выражение, что всегда.

Но во второй раз она пошла другой дорогой, в обход, через бревна.

Я спросил её вечером, что он сказал.

Она сказала: «Ничего».

Я не стал настаивать. И это, наверное, было ошибкой, но я в тот момент подумал, что человеку иногда нужно, чтобы сказанного о нём не существовало, — а если я вытащу это из неё и переспрошу, оно станет существовать дважды.

На Саринте она была бедной.

Бедной там были все, и это ничего не значило: дом Ниппы беднее дома Акара, но и то и другое — дом, а человек из дома — человек.

Здесь она впервые в жизни оказалась не бедной.

Здесь она оказалась **чужой по рождению** — из той породы, которую привозят, а не которая привозит. И я думаю, что именно в этот день, у навеса с восемьюдесятью четырьмя питтами, она окончательно поняла, куда четыре года назад увезли её отца и кем он там был.

Она мне об этом не сказала ни слова.

Вечером, когда мы сидели у лодки, она спросила меня совсем другое — спросила, сколько зерна помещается в корзину с чёрным ободом.

Я сказал: мер пять, если насыпать вровень.

Она кивнула и больше ничего не спросила.

***

«Товарищи курсанты. В чужом месте не ищите первым делом начальника. Начальника вам покажут, и он окажется не тот. Ищите, кто здесь считается никем. Кого можно толкнуть и не извиниться. Это и есть описание места — короткое и точное. Всё остальное вам расскажут про себя сами».

Четвёртый курс, работа с местным населением, последняя пара перед отпуском, аудитория с окнами на залив. Гуляев читал по бумажке, скучно, как всегда, и я это записал в тетрадь и, судя по всему, запомнил не той частью головы.

Потому что в Алланде я весь день искал, кто тут главный.

Я считал печи, дворы, лодки, телеги и осликов. Я смотрел на толстого в чистой рубахе и думал: вот он, начальник. Я смотрел на дым за излучиной и думал: нет, начальник там.

А ответ весь день ходил у меня перед глазами, босой, с мешком на плече.

***

Пиясса ушёл на закате.

Точнее, перед закатом: солнце стояло над самым лесом, и от навесов через берег легли длинные полосы.

Он закончил все свои дела, о чём я сужу по тому, что он был доволен. Проверил лодку. Сказал что-то своим гребцам, и двое остались, а четверо ушли в город.

Потом подошёл к нам.

Пиясса вообще редко к нам подходил — за четыре дня раза три, не считая переводов. И он сказал Тиссе короткую фразу, и Тисса перевела:

— Ждите. Вернусь до заката.

Я посмотрел на солнце над лесом и хотел сказать, что закат уже вот он.

И не сказал, потому что Пиясса в этот момент делал странную вещь.

Он снимал с пояса шнур.

Тот самый. Он снял его, свернул и убрал в мешок под носовой настил — туда, где лежали его вещи. И только после этого пошёл.

Я смотрел ему вслед и думал: человек, который идёт по

делу, берёт счёт с собой. Человек, который оставляет счёт в лодке, идёт не по делу.

Я это заметил. Я это отметил. И ничего не сделал — потому что что я мог сделать? Пойти за ним? По чужому городу, не зная языка, на глазах у сотни человек?

Солнце село.

Мы сидели у лодки вчетвером. Двое Пияссиных гребцов развели костерок на песке, сварили себе рыбы, дали немного нам — молча, без интереса, как кормят собаку, привязанную к чужому дому.

Стемнело.

Тавво лёг и накрылся с головой. Вирро сидел, обхватив колени, и смотрел на огонь. Тисса сидела рядом со мной, и мы оба смотрели в ту сторону, куда ушёл Пиясса.

Он не пришёл.

Я в темноте пересчитал наше имущество, потому что руки надо было чем-то занять. Шесть слитков меди — в мешке, мешок под моей спиной. Три обсидиановые пластины Туло. Вода в двух горшках. Еда на день. Обломок ножа — рукоять с огрызком — у меня на поясе, вторая половина в мешке, завёрнутая в тряпку.

Четыре человека. Один город. Ноль знакомых.

Около полуночи со стороны навесов пришли трое.

Они шли не таясь и не спеша, и один нёс горящую палку, и я успел разглядеть их раньше, чем они подошли: молодые, крепкие, обычные — не разбойники, не воины, просто трое

мужиков, идущих по своему берегу по своему делу.

Пияссины гребцы, увидев их, встали и отошли к воде. Не убежали. Просто отошли и стали смотреть.

Трое остановились шагах в пяти. Оглядели нас — без спешки, по очереди, как оглядывают выгруженный на берег товар, который никто не караулит.

Старший из них — лет тридцати, с ремешком на лбу — спросил.

На островном.

Плохом, ломаном, с чудовищным выговором, но на островном — и от этого мне стало холоднее, чем было бы от любого другого языка. Потому что если человек на этом берегу знает островной, он выучил его не от хорошей жизни и не для торговли.

Он спросил три слова.

— Чьи вы?

Я понял вопрос сам, без перевода.

И вот тут я сделал то, за что потом заплатил, и заплатил не один.

Я мог сказать: Пияссины. Соврать было бы просто, и это было бы почти правдой, и они бы проверили только утром.

Я мог сказать: дома Кукуни. Вирро сидел в двух шагах, и Вирро их знает в лицо, и это выяснилось бы через день.

Я мог вообще не отвечать.

Я ответил правду, и ответил с той интонацией, с какой двенадцать лет отвечал на вопрос «кто такие» на чужих

блокпостах: спокойно, коротко, глядя в переносицу.

— Ничьи.

Тисса рядом со мной дёрнулась.

Она поняла раньше меня. Она выросла в мире, где у каждого человека есть дом, и где человека без дома не бывает, — и она знала, что я сейчас сказал.

Трое переглянулись.

Не злорадно. Не угрожающе. Они переглянулись так, как переглядываются люди, которые шли проверить, не ошиблись ли, и убедились, что не ошиблись.

Тот, что с ремешком на лбу, кивнул сам себе.

И они ушли обратно к навесам — так же не спеша, как пришли.

Я сидел на песке, смотрел им вслед и очень медленно, кусок за куском, понимал, что я только что сказал.

На этом берегу всё кому-то принадлежит. Лодка, зерно, корзина с чёрным ободом, осёл, мальчишка, который его ведёт. У всего есть дом, и дом за него отвечает, и поэтому его нельзя просто взять.

А «ничей» — это не свобода.

«Ничей» — это товар, у которого нет хозяина.

Глава 5. Ничьи

Они ушли к навесам, и я сразу понял, что они вернутся.

Не подумал — понял, тем местом, которым это понимаешь раньше головы. Так уходят не «ну ладно», а «сейчас».

Я сел спиной к лодке и стал смотреть на берег.

Дальше пошла работа, и вот за эти десять минут мне, пожалуй, не стыдно.

Смотрите, что у меня было.

Полоса песка шагов двадцать шириной. Слева — вода, за спиной — лодка Пияссы, вытащенная носом на песок, справа, шагах в тридцати, — крайний навес, за ним ещё навесы, за ними город. Костерок, догорающий, дающий света на два шага. Луна в третьей четверти, за дымкой: не темно, но и не видно.

Дорог к нам две: по песку вдоль воды и сверху, между навесами. Обе сходятся у костра.

Нас четверо. Из них один старик, одна женщина, один мальчишка, убивший человека три недели назад и до сих пор от этого не отошедший.

И шесть кусков меди, ради которых на этом берегу можно и потрудиться.

Оружия у меня было — обломок рукояти с четырьмя сантиметрами лезвия.

Я его достал и подержал в руке.

Титановая рукоять с огрызком, обломанным по косой; на нём когда-то были зубцы серрейтора, три штуки уцелели. Как нож эта штука кончилась в сентябре. Как инструмент — нет: за три недели я ею резал ремни, чистил рыбу, скоблил глину.

А сейчас я держал её в кулаке лезвием вниз, шипом наружу, потому что больше у меня не было ничего.

Пияссиных гребцов я тоже посчитал. Их было двое.

К моменту, когда я закончил считать, их стало ноль.

Они не убежали и не крались — просто встали, взяли свои мешки, переговорили между собой и пошли вверх, к навесам, и через полминуты их не стало. Один по дороге посмотрел на меня, и в этом взгляде не было ни злорадства, ни вины. Так смотрят на чужую лодку, которую сносит на камни: жалко, но лезть не будешь.

Пошли ли они предупредить Пияссу, или искать своих, или просто спать под крышей — я не знаю до сих пор.

Я разбудил Вирро и сказал Тиссе:

— Буди Тавво. Всем к лодке. Встаньте за корму.

Тисса перевела Вирро, и я увидел, как старик поднимается — медленно, с одышкой, оправляя рубаху.

— Спрячьтесь, — сказал я.

Вирро что-то ответил, Тисса не перевела.

Я повторил: за лодку, сидеть, не выходить. И добавил единственное, что умел сказать так, чтобы поняли без перевода: показал на мешок с медью, потом на Тиссу.

Она поняла. Она взяла мешок и села с ним на песок за кормой, и это было правильно, потому что за медью придут в первую очередь, а женщина с мешком в темноте — не самая очевидная вещь на берегу.

Тавво встал рядом со мной.

Я показал ему: назад, к лодке.

Он не пошёл.

Семнадцать лет, ростом мне по плечо, и ровно то же выражение, что было у него на Танде, когда он застёгивал рубаху.

Спорить было некогда.

***

Их пришло пятеро.

Трое прежних и двое новых, и новые были заметно старше — лет по сорок, тяжёлые, спокойные. У одного в руке была палка в руку толщиной. У остальных, насколько я видел, ничего, и это мне сказало больше, чем палка.

Они шли не драться. Они шли забирать.

Тот, с ремешком на лбу, остановился шагах в четырёх и заговорил.

Говорил он долго и почти ласково, и половину слов я не понимал, а вторую — понимал слишком хорошо, потому что интонацию такого рода я слышал на трёх континентах. Так говорят, когда объясняют: ребята, не глупите, всё уже решено, нам же проще.

Тисса переводила из-за лодки. Тихо, отрывисто, пропуская.

Смысл был такой: вы ничьи. За вас никто не спросит. Идёте с нами, всё будет по-хорошему. Медь оставьте здесь — она всё равно не ваша.

— Скажи, что лодка Пияссы, — сказал я. — Скажи, что мы его люди.

Тисса сказала.

Они засмеялись — не все, двое. Ремешок покачал головой

и ответил, и Тисса перевела:

— Пиясса ушёл.

И вот тут я окончательно понял устройство этого берега, и понял его быстрее, чем за весь предыдущий день.

Они не проверяли, чьи мы. Они ждали, когда мы станем ничьи.

Они видели днём, как Пиясса сдаёт груз. Они видели, как он уходит. Возможно, они знали, куда и насколько, лучше нас. Четверо островитян на пустой пристани при шести слитках меди — это не добыча, которую надо отнимать. Это имущество, у которого отвалился хозяин.

Ремешок сделал шаг.

***

Драка была короткая и некрасивая, и я в ней не был хорош.

Я двенадцать лет учился драться. У меня за плечами были залы, маты, инструкторы, реальные задержания, восемнадцатилетний кок с кухонным ножом в трюме и трое суток рукопашки в год, каждый год.

Всё это годилось для другого человека.

Тот человек весил восемьдесят шесть килограммов, спал по восемь часов, ел мясо и не имел двух сломанных рёбер трёхнедельной давности.

Я весил килограммов на десять меньше, третью ночь толком не спал, греб двое суток из трёх, и левая рука у меня работала на две трети: предплечье зашито дважды, мизинец

не чувствует ничего с июля.

Ремешок шагнул — и я ударил первым.

Это было единственное правильное, что я сделал за весь вечер. Он шёл не драться, он шёл брать, и в его голове следующие пять секунд были расписаны, и в них не было меня, идущего навстречу.

Я взял его за запястье, дёрнул на себя и мимо — и ударил рукоятью в лицо, снизу вверх, шипом.

Он заорал.

Дальше стало быстро и мутно, и я эти полторы минуты помню не подряд, а кусками, и куски не в том порядке, в каком были.

Палка. Палка пришла слева, я её не видел, я её почувствовал и убрал плечо, и она попала по лопатке — по той самой, куда в сентябре прилетел камень. В глазах стало бело.

Чужая рука у меня на горле сзади. Я не стал её отрывать — некогда; я присел и ударил затылком назад и попал во что-то мягкое.

Тавво. Тавво висел на одном из них, вцепившись в руку с палкой, и его трясли, как собаку, и он не отпускал.

Песок. Очень много песка — в рот, в глаза, на зубах. Мы оба упали, и я под кем-то.

И вот тут меня начали бить всерьёз, и я понял простую арифметику: их пятеро, я один, и Тавво — не в счёт, и через двадцать секунд это кончится.

И я заорал.

***

Я не собирался этого делать. Это вышло само — так, как выходит из человека, которому больше нечем.

Я заорал по-русски.

Я не помню точно, что именно. Тисса потом сказала, что это было длинно. Я думаю, там была та самая команда, которую я орал на выходах: коротко, матом, с фамилией, которую никто из них никогда не слышал, — и дальше, наверное, всё остальное, что двенадцать лет лежало за тем же рычагом.

Они отпустили.

Не все. Двое.

И это была та самая доля секунды, которой не хватало.

Потому что вот что происходит с человеком в темноте, на чужом берегу, когда существо под ним вдруг начинает орать на языке, которого нет.

Он знает три языка этого берега. Он знает, как звучит островной, как звучит торговый, как ругаются у печей. Он вырос в мире, где звуков ровно столько, сколько есть народов вокруг, и все они известны.

А это — не из них.

И на одну секунду — на одну — в голове у него открывается щель, куда заходит всё то, чем на этом берегу пугают детей.

Я выдрал руку, поднялся на колено и ударил ближайшего рукоятью в бедро, коротко, дважды.

Он сел.

Кто-то схватил меня за волосы сзади. Я ударил локтем назад и попал, и рука разжалась, и тут в темноте закричала Тисса.

Не от боли. Она кричала слова.

***

Она вышла из-за лодки.

Она вышла из-за кормы, где ей было велено сидеть с мешком меди, встала в двух шагах от дерущихся мужиков и стала кричать.

Кричала она не им.

Она кричала в сторону навесов — туда, где стояли дома, — и кричала одно и то же, раз за разом, длинную фразу на здешнем языке, которого ещё четыре дня назад не знала вовсе.

Я потом спросил, что это было.

Она сказала, что кричала: «Здесь бьют людей Пияссы».

Не «помогите». Не «убивают». Она за один день на этом берегу поняла то, до чего я шёл бы неделю: кричать надо не о себе, а о чужой собственности. «Убивают» — это про нас, а мы никто. «Люди Пияссы» — это про имущество человека, которого тут знают двадцать лет.

Я не знаю, сработало ли это.

Я знаю только, что через несколько секунд из темноты, со стороны крайнего навеса, пришёл женский голос.

***

Она не кричала.

Она говорила ровно, довольно громко, не быстро — так, как говорит человек, который у себя дома и которого перебивать не принято.

Драка кончилась не сразу. Секунды три все стояли, тяжело дыша, и держали друг друга, и слушали.

Потом тот, что сидел на песке — которому я попал в бедро, — что-то ответил ей.

Она ответила ему, длинно.

И вот тут, впервые за эту ночь, я услышал интонацию, которую понял до последнего оттенка, хотя не понял ни слова. Так разговаривает человек, который называет цифру. Не угрожает, не просит — просто перечисляет, что будет стоить каждая следующая минута.

Ремешок выругался. Это я тоже понял.

Они ушли.

Не побежали. Собрались, подняли того, что сидел, и пошли вверх, к навесам, и Ремешок по дороге зажимал ладонью лицо.

Четверо.

А пятый — тот, которому я первым ударом попал в лицо, нет, вру, тот был Ремешок; пятый был из новых, тот, которого свалили мы с Тавво вдвоём, — пятый остался на песке.

Он был жив. Он приподнялся на локтях, посмотрел вслед своим и пополз в темноту, в сторону от навесов, к камышам.

Я его не преследовал.

Я стоял на коленях в песке, держался за лопатку, и у меня

в голове не было ни одной мысли, кроме той, что дышать больно.

Я узнал о нём на третью ночь, и не от него.

***

«Товарищи курсанты. Ночью бьют по звуку. Всё, что вы издаёте, — это ваш адрес, сообщённый добровольно. Человек, который в темноте закричал, сообщил противнику три вещи: где он, сколько его и как у него с нервами».

Пятый курс, ночные занятия, февраль, полигон, где мы ползали по мокрому снегу и где Гуляев стоял в тулупе и говорил в темноту ровным голосом.

Я вспомнил это через час, когда сидел у чужого очага и меня отпускало.

Я сделал ровно противоположное тому, чему меня учили, и это нас спасло.

И я сидел и думал, что, значит, правило было не полное — как и то, другое, про честный второй выход, которое стоило мне человека. У правил, оказывается, есть условия, и условия в них не записаны, потому что тот, кто писал, не мог представить, что кто-то будет драться на берегу, где его язык не существует.

Это, наверное, самая неприятная мысль за всю дорогу.

Не «Гуляев ошибся». Гуляев не ошибся — на всех его полигонах он был прав.

А та, что каждое моё правило теперь надо проверять заново. Все. По одному. Своей шкурой.

***

Женщину звали Аллива.

Ей было лет за пятьдесят. Невысокая, плотная, в тёмном, с волосами, убранными под платок так, что не видно ни пряди. Вдова — я понял это позже, по дому, где не было мужских вещей, и по тому, как с ней говорили.

Она отвела нас к себе.

Дом стоял вторым от края, глинобитный, с плоской крышей, с двором, обнесённым плетнём, и во дворе была печь, и над печью навес, и под навесом сушились травы.

Она посадила нас у огня, посмотрела на Вирро — у него была рассечена бровь и залит кровью весь левый бок лица, — сказала что-то и принесла воды и тряпку.

Тавво она осмотрела руку. Мне не сказала ничего, и правильно: я был целее всех.

Тавво у огня трясло.

Не от холода — ночь была тёплая. Его трясло крупно, от плеч, и он держал руки между коленями, чтобы не было видно, и они всё равно ходили.

Я видел такое сто раз и знаю, что с этим делать: занять руки. Дать тяжёлое. Заставить считать вслух.

Я сел рядом, подал ему наш горшок с водой и сказал: держи.

Он взял двумя руками, и стало легче.

Три недели назад он убил человека. Ночью, на мокром жёлобе над чашей, копьём, в спину, и это было правильно, и

после этого он два дня не ел. Я тогда с ним не поговорил. Не потому, что не хотел, — мне было нечем: четыреста слов, из которых нет ни одного нужного.

Сегодня он висел на руке с палкой и не отпускал, и я знал, чего это ему стоило, и снова не мог сказать ничего.

Я просто сидел рядом, пока не прошло.

Минут через пять он отдал мне горшок, лёг на бок и через минуту спал. В семнадцать лет спят даже так.

Аллива посмотрела на него, потом на меня, и я ждал, что она скажет что-нибудь про мальчишку.

Она сказала про другое.

Она показала подбородком на его руку — на ту, которой он держался за палку, ободранную от запястья до локтя, — и спросила у Тиссы два слова.

Тисса перевела:

— Она спрашивает, кто ему резал грудь.

Я не понял, откуда она знает про грудь: рубаха на Тавво была застёгнута, я сам видел.

А она уже не смотрела на Тавво. Она смотрела на Вирро, которому только что промыла бровь, и Вирро сидел с мокрой тряпкой у лица, и ворот у него был расстёгнут, потому что она сама его расстегнула, когда мыла.

***

Тисса ушла с тряпками к реке — она была в двадцати шагах за плетнём, — и я пошёл за ней.

Я шёл сказать то, что обязан был сказать.

Я велел ей сидеть за кормой с мешком. Она вышла. В драке, в темноте, где бьют по всему, что шевелится, она встала в двух шагах и начала кричать. Её могли достать палкой раньше, чем я успел бы обернуться. И мешок она при этом бросила на песке. Я подобрал его, когда мы уходили: он лежал в двух шагах от кострища, никем не тронутый, — просто потому, что в ту минуту никому до него не было дела.

Я всё это ей сказал.

Сказал, как умел: короткими словами, без интонации, глядя не на неё, а на воду. «Я сказал — сиди. Ты вышла. Так нельзя».

Она слушала, присев на корточки, полоская тряпку в реке.

Потом выпрямилась, отжала тряпку и ответила.

Она сказала — я разобрал сам, без перевода, потому что слова были простые:

— Ты бы там лежал.

И понесла тряпки к огню.

Я остался у воды.

Мне было что ответить. У меня было три ответа, и все три правильные: что приказ в драке не обсуждают; что если бы её взяли, всё остальное теряло смысл; что она рисковала не собой, а всеми.

Я не сказал ни одного.

Не потому, что растерялся. А потому, что стоял на чужом берегу, в чужой темноте, и очень отчётливо понимал: она права по факту. Я бы там лежал.

Тисса сидела прямо, держа мешок с медью на коленях, и не выпускала его весь вечер.

Аллива говорила на четырёх языках.

Я это выяснил за первые десять минут и не сразу поверил. Со своими соседями — на здешнем, отрывистом. С нами — на островном, довольно чисто, с акцентом, но чисто. Через двор кому-то крикнула на торговом, на Пияссином. А когда пришёл человек от навесов, спросить, всё ли у неё спокойно, она ответила ему на четвёртом, гортанном, с долгими гласными — том самом, на котором говорили двое в плотных плащах.

Толмач.

Вот что это была за профессия, и вот почему она жила вторым домом от пристани. Всё, что приходит на этот берег в лодках, надо кому-то объяснять на берегу. Она объясняла. За долю.

Она спросила, кто мы.

Я сказал — через Тиссу, хотя она понимала меня и без Тиссы, — что мы с Саринта. Что идём торговать. Что у нас медь.

Она слушала, подперев щёку, и смотрела на меня внимательно и без всякого сочувствия, как смотрят на товар, который принесли под вечер и который надо оценить при плохом свете.

Потом спросила моё имя.

— Курса, — сказал я.

Она повторила. Потом посмотрела на Тиссу и что-то сказала — коротко, с усмешкой.

Тисса не перевела.

Я спросил: что?

Тисса сказала: «Ничего».

Второй раз за два дня.

***

Потом Аллива объяснила нам, как тут всё устроено, и уложилась в три фразы.

Первая: у всего есть хозяин.

Не «почти у всего». У всего: у лодки, у зерна, у навеса, у собаки, у осла, у человека. Если вещь лежит на берегу, у неё есть тот, кто за неё отвечает, и взять её — значит поссориться с ним. Поэтому на этом берегу почти не воруют. Поэтому никто не тронул лодку Пияссы, хотя она стояла пустая всю ночь.

Вторая: человек, у которого нет хозяина, — не свободный человек.

Он — недостача.

Она сказала это слово на островном, и слово было то самое, которым меня встретили на Саринте.

Куннис.

Чужак. Тот, у кого нет дома.

На Саринте это значило: непонятно чей, опасный, лишний рот, но живой человек — которого можно не пускать к воде, но которого нельзя взять и унести.

Здесь то же слово означало противоположное.

Здесь оно значило: ещё не записанный. Никем не учтённый. Тот, кого можно вписать в чей-нибудь счёт — и он станет чьим-то, и тогда у него появится хозяин, и всё встанет на место.

Одно слово. Два берега. Один и тот же смысл, вывернутый наизнанку: у тебя нет дома — значит, ты никому не нужен; у тебя нет дома — значит, ты нужен любому.

И третья фраза, которую она сказала спокойно, доливая воду:

— Я сказала им, что вы мои.

***

Вот тут у меня внутри всё и остановилось.

Я двенадцать лет отвечал за людей. Это не фигура речи и не гордость — это профессия, в которой ты, ложась спать, знаешь, где каждый из твоих, и в которой, если ты этого не знаешь, ты плохой командир и тебя надо убирать.

Я привёз четверых на чужой берег.

За четыре дня я не выяснил, куда мы идём. Не догадался спросить у Пияссы, что бывает с чужими на пристани. Не заметил, что двое гребцов ушли за полчаса до того, как пришли пятеро, хотя это было написано у них на спинах.

Я потерял Тавво на два часа днём и не смог его найти.

Я вышел один против пятерых, получил палкой по лопатке и выжил только потому, что заорал матом на языке, которого здесь нет.

А заплатила за нас чужая женщина.

Она сказала пять слов в темноту — и пятеро мужиков ушли. Не потому, что испугались её. Потому что за ней стоит дом, доля, имя и двадцать лет на этом берегу, и связываться с этим дороже, чем взять четверых непонятно чьих.

То есть всё, чем я тут защитил своих, — это чужое имя, которое мне дали взаймы.

Я спросил у неё — прямо, через Тиссу, хотя понимал, что спрашивать это вслух глупо:

— Что мы теперь тебе должны?

Она ответила не сразу.

Сначала долила воды Вирро. Потом поправила платок. Потом сказала — и Тисса перевела дословно, потому что второго значения тут не было:

— Живые должники лучше проданных.

И больше в тот вечер ничего об этом не сказала.

А потом она сделала одну вещь, от которой мне стало смешно и нехорошо одновременно.

Она сняла с гвоздя у притолоки шнур.

Короткий, в две ладони, с узлами разного размера — точно такой же, какой Пиясса носит на поясе, только тоньше и аккуратнее, и узлов на нём было много, и часть из них была подвязана отдельными хвостиками.

Она нашла на нём свободное место, ближе к концу, и завязала узел.

Один.

Потом подумала — и рядом ещё три, помельче, кучкой.

Один крупный и три мелких: не четыре одинаковых, а один и при нём три. Я на эту разницу смотрел минуты две и, кажется, понял: крупный — тот, с кем договариваются. Мелкие — те, кто при нём.

Три недели назад я на Саринте доказывал людям, что человека нельзя записать узлом. Я разбирал чужой шнур ночью на плоском камне и считал узлы с вплетённым человеческим волосом, и меня трясло от того, что я видел.

Потом я сам стал узлом у Пияссы — и не поморщился, потому что это было удобно.

А теперь я стал узлом второй раз, и при мне три мелких, и это тоже было удобно, потому что альтернативой была та самая тёмная пристань.

Вот так это и работает. Не насилием. Удобством.

Я сидел и понимал, что мы только что перешли из одного состояния в другое: были ничьи, стали должны. И что по местным понятиям это огромное улучшение.

***

Вирро заговорил, когда все уже легли.

Мы лежали во дворе, под навесом, на соломе. Тисса с мешком, Тавво у стены, я у выхода, потому что у выхода лежит тот, кто отвечает. Аллива ушла в дом.

Вирро подсел ко мне.

За четыре дня пути он сказал мне, может, десять фраз, из них восемь — «дай», «возьми» и «пить». Он вообще гово-

рил мало с тех пор, как на Саринте с ним перестали разговаривать.

Он сел рядом, помолчал, потом стал говорить медленно, короткими кусками, чтобы я понял, и в трудных местах ждал Тиссу, которая не спала и переводила шёпотом, не поднимая головы.

Он сказал вот что.

Завтра утром опять спросят, чьи мы. Спросят у навесов, спросят на лодках, спросят те же самые, и слово Алливы прикроет нас на день, может, на два, но не дольше, потому что она нам не дом. А дом нужен.

И у него есть дом, который можно назвать.

Он сказал: дом Кукуни.

Я не понял сразу — вернее, я понял слова, но не понял, что он предлагает. Он повторил, и Тисса перевела точнее, и я понял.

Он предлагал назваться людьми дома Кукуни.

Он, Вирро, старший дома Пинда, который тридцать лет уговаривал остров платить. Который носил на груди четыре линии, поставленные их рукой. Который в прошлом сентябре, когда они пришли, носил им воду — и за это на Саринте с ним теперь молчат.

Их сборщик знает его в лицо. Не понаслышке — в лицо, потому что он и есть тот человек, с которым на Саринте двадцать лет разговаривали, когда лодки приходили за данью.

То есть: Вирро может подойти к любому на этом берегу и

сказать, кто он, и его узнают, и вопрос «чьи вы» закроется.

И тогда мы четверо станем людьми дома, чьего старшего я утопил три недели назад.

Я сидел и считал цену.

Для нас — день или два безопасности. Может, неделя. Может, дорога дальше.

Для него — всё.

Потому что назваться так — значит при чужих, вслух, стать тем, кем его считают дома. Тем, кто с ними. Он тридцать лет доказывал на кругу, что договор — это не предательство, что он спасает остров, что без него будет хуже. Он в это верил. Он, чёрт возьми, оказался прав, и я это своими глазами видел на Танде.

А теперь он предлагал мне произнести это вслух на чужом берегу, и не как убеждение, а как удостоверение. Как пропуск.

Такое человек может предложить один раз в жизни.

И ещё одно, о чём он не сказал, а я не стал спрашивать, потому что и так было ясно.

У утонувшего остался брат.

Если мы назовёмся людьми дома Кукуни, рано или поздно мы встретим кого-нибудь из этого дома. И этот кто-нибудь посмотрит на Вирро — и узнает.

— Хорошо, — сказал я.

Он кивнул и пошёл ложиться.

Я не сказал ему спасибо. Я думал об этом потом много

раз и каждый раз понимал, что сказать было нечего: за такое не благодарят, за такое расплачиваются, а расплатиться я не успел.

***

Спать я не мог.

Лопатка ныла, под левым ребром отзывалось при каждом вдохе, песок скрипел на зубах, хотя я полоскал рот дважды. Я лежал на спине, смотрел в чужую тростниковую крышу и слышал, как в доме ходит Аллива.

И почему-то начал стучать.

Пальцем по колену, машинально, как стучат, когда нечего делать. Короткий, короткий, короткий. Пауза. Длинный, длинный, длинный. Пауза. Короткий, короткий, короткий.

SOS.

Самая бесполезная вещь на свете в радиусе четырёх с половиной тысяч лет.

Я поймал себя на этом и остановился. И полежал. И через минуту стал стучать снова — уже не SOS, а просто так, буквы, какие пришли.

Я всю жизнь думал, что знаю морзянку с флота.

Я её сдавал на четвёртом курсе, зрительная связь и световая сигнализация, мичман Бабичев, лысый и злой, с указкой: «Товарищ курсант, пойте! Молча никто не принимает!» И мы пели: «баа-ки-те-кут», «ви-даа-лаа», «лу-наа-ти-ки».

И только тут, на чужом дворе, в темноте, я вспомнил, откуда она на самом деле.

Кухня в Пскове. Клеёнка в мелкий цветочек. Мне лет восемь.

Отец сидит напротив в майке, после смены, и перед ним на столе лежит телеграфный ключ — настоящий, списанный, на чёрном основании, тяжёлый, как утюг. Он принёс его с узла связи, и мать была против, потому что он занимал полстола.

Отец был прапорщиком. Связист. Двадцать два года на узле, и всё это время — младшим по званию из всех, кто сидел в той комнате.

Он говорил мало и учить меня ничему не собирался. Просто однажды вечером посадил рядом и сказал:

— Точка — это раз. Тире — это три. Пауза между знаками — тоже три. Пауза между словами — семь.

И всё. Никакой педагогики. Он даже не объяснил, что такое морзянка, — он считал, видимо, что это само собой понятно.

Потом взялся за ключ и отстучал моё имя.

Я его гонял этим ключом года два. Мы не разговаривали с ним почти — он приходил поздно, ложился рано, по выходным чинил у соседей телевизоры, — но вечерами иногда садились, и он стучал, а я угадывал.

Он умер, когда мне было девятнадцать. Я к тому времени уже год как был в институте и приезжал на каникулы, и мы всё так же не разговаривали.

На четвёртом курсе я сдал морзянку легче всех в группе

и решил, что у меня способности.

Пятнадцать лет я думал, что она у меня от флота.

Она у меня от человека, который за всю жизнь не сумел мне сказать ничего, кроме «точка — это раз, тире — это три», — и который нашёл единственный способ передать сыну то, что умел сам.

Я лежал на чужом дворе, стучал пальцем по колену и в первый раз с июля подумал не о том, что я потерял.

О том, что я привёз.

Я привёз сюда его ключ. Без ключа.

***

Под утро — уже серело — Аллива вышла во двор и стала растапливать печь.

Я встал, потому что всё равно не спал, и сел у стены, и она, не спрашивая, налила мне воды в плошку. Вода была не речная. Я спросил откуда, она показала подбородком на колодец у соседей и сказала два слова, из которых я понял «яма».

Тисса проснулась и подошла тоже.

Аллива говорила спокойно, между делом, подкладывая хворост, — так, как говорят о погоде с людьми, которые переночевали и утром уйдут.

Сначала про Пияссу: он в городе, у него дела с домом, который берёт медь, он вернётся к лодке, когда закончит, и это может быть сегодня, а может, завтра, и незачем из-за этого шуметь.

Потом про вчерашних: они не вернутся, потому что им сказали. А если вернутся, то не сюда.

Потом — про нас.

Она сказала, что мы зря пришли сюда торговать. Что на этом берегу с островов ничего не покупают и ничего островам не продают: то, что идёт с островов, приходит не в лодках торговцев, а по счёту, и ложится в чужие сараи, и меняться тут не с кем.

Тисса перевела и добавила от себя, что она это уже слышала вчера.

Аллива пожала плечами и сказала последнее.

Что людей с островов в Алланду вообще не приводят.

Здесь перевалка, здесь лодки, здесь зерно и медь, здесь все ходят туда-сюда, и лишние глаза. Людей не держат там, где ходят чужие.

Их отводят сразу в одно место. Вверх по реке, день пути, где река делает петлю и есть старая ограда.

И добавила, всё так же буднично, поправляя хворост:

— Туда сегодня идёт лодка.

Тисса встала.

Глава 6. Печи

На ту лодку, про которую Аллива сказала на рассвете, мы не попали.

Она ушла в то же утро, гружёная под планширь, и четверых чужих на неё не взяли бы ни за медь, ни за что другое. Тисса простояла на берегу, пока её не стало видно за излу-

чиной.

Следующая уходила вверх по реке через четыре дня, и на неё надо было попасть.

Аллива объяснила это в тот же день, за печью, в двух словах, и оба слова мне не понравились.

Первое: повод.

На этой лодке не возят пассажиров. Она идёт вверх с грузом и возвращается с грузом, и на ней едут те, у кого наверху дело: работник дома, гребец, человек, которого послали. Четверо островитян, которые просто хотят посмотреть, — не дело. Это подозрительно даже для меня, а я тут третий день.

Второе: плата.

И вот тут выяснилось то, что я должен был сообразить ещё на Танде.

У меня было двадцать килограммов меди. Состояние. То, ради чего в конце августа утонул Кассо.

И я не мог её потратить.

Не потому, что её не взяли бы. Взяли бы с руками. А потому, что человек, который на этом берегу достаёт из мешка слиток и платит им за место в лодке, — это человек, у которого в мешке есть ещё.

Слиток на пристани стоит не своей цены. Он стоит ровно столько, сколько стоит наша жизнь до ближайшей тёмной ночи.

Я сказал это Алливе, как сумел. Она выслушала, кивнула и сказала — Тисса перевела, — что я, оказывается, не совсем

дурак.

И что работать мне придётся руками.

***

Плавильщика звали Маханду.

Он был лет пятидесяти, кривоногий, с обожжёнными до черноты предплечьями и с лицом человека, который всю жизнь смотрел в огонь: брови выгорели, кожа на скулах в мелких белых точках от окалины.

И он был глухой на правое ухо.

Из-за этого он орал. Всегда, всем, независимо от того, где стоял собеседник, — орал добродушно, с хохотом, и хохотал он через каждые две фразы, и от этого первые полдня я никак не мог понять, ругает он меня или хвалит.

Аллива привела нас к нему после полудня и говорила с ним недолго.

Он посмотрел на меня. Потом на мои руки. Взял левую, развернул ладонью вверх, потрогал мозоли на основании пальцев — те, что остались от весла и, до весла, от ремней, — и что-то крикнул.

Аллива перевела Тиссе, Тисса мне.

Он спросил: почему у мужика такие руки и при этом такая рожа?

Я не понял. Она объяснила: руки рабочие, а лицо — нет. Лицо, сказал он, как у человека, который приходит считать.

Я к тому времени уже сутки как перестал удивляться тому, что на этом берегу все всё понимают с одного взгляда.

Потом он спросил про медь.

Не про мою — про то, знаю ли я металл. Я сказал: нет. Это была правда: я знаю сталь, я знаю титан, я знаю, как их греют и чем режут, но про то, как медь выходит из камня, я не знал ничего, кроме школьного слова «восстановление».

Он обрадовался.

Именно обрадовался — хлопнул себя по бедру и захохотал, и сказал Алливе длинное, и в конце этого длинного было то, ради чего он нас и взял.

Ему нужны были руки, которые не умеют воровать.

Не «честные». Не умеющие. Всякий местный парень знает, что такое медная королька на дне тигля и сколько за неё дадут через два дома. Знает, где лежит готовое и когда хозяин отворачивается. А чужак, который не знает ни цен, ни людей, ни куда это сбыть, — чужак может утащить слиток только для того, чтобы потом с ним стоять как дурак.

Я в этот момент, надо сказать, чуть не засмеялся.

У меня в мешке лежало шесть таких слитков, и всё утро я думал ровно о том, куда их деть, чтобы не быть дураком.

***

Перед тем как идти наниматься, я сходил к лодке.

Она стояла там же, носом на песке, и в ней не было никого. Песок вокруг был истоптан — вчерашним, нашим и не нашим, — и кострище залито, и ничего не тронуто.

Я залез под носовой настил и пощупал мешок Пияссы.

Шнур лежал там, где он его оставил.

Я сидел на корточках в чужой лодке, держал в руке чужой счёт и очень ясно понимал, что могу сейчас сделать две вещи. Могу его взять — и тогда у меня будет единственная в этом городе вещь, которая что-то значит. Или могу положить обратно.

Я положил обратно.

Не из порядочности. Из арифметики: человек, у которого нашли чужой счёт, на этом берегу даже не «ничей». Он вор, а с вором тут, я думаю, разговор короткий и по правилам.

Но руку я потом вытирал о штаны дольше, чем надо было.

***

Три дня у печей я запомнил так, как запоминают работу: не картинками, а последовательностью.

Начиналось до света.

Первое — уголь. Не дрова, а именно уголь: чёрный, лёгкий, звонкий, который жгут в ямах где-то выше по реке и привозят вниз корзинами. Его таскали, ссыпали, отсеивали от мелочи.

Второе — камень. Зелёный. Куски с кулак, в которых сидели ярко-зелёные прожилки, и куски, зелёные целиком, — этот был дороже. Его били молотком на плоском камне до размера ореха; этим занимались двое мальчишек и одна старуха, и старуха била лучше всех.

Третье — глина. Тигли, лепные, толстостенные, на два-три кулака, и их сушили под навесом, и половина всё равно лопалась.

Четвёртое — дутьё.

Вот это меня добило.

Печь у Маханду была ямная: круглая яма в полметра глубиной, обмазанная глиной, с бортиком, и в бортике снизу торчали три глиняные трубки. В трубки вставляли тростинки, а в тростинки дули.

Ртом.

Три человека, сидя на корточках вокруг ямы, по очереди дули в огонь, меняясь каждые несколько минут, и делали это часами.

Я на второй день сел дуть.

Через двадцать минут у меня плыло перед глазами, и это при том, что я умею дышать: двенадцать лет на аппарате, задержка дыхания, работа на глубине. Не помогло ничего. Тут не нужна была задержка, тут нужно было ровное усилие много часов подряд, и это оказалось отдельным ремеслом, которому мальчишка рядом со мной учился с шести лет.

А мехов у них не было.

Я это понял в первый же вечер и долго сидел с этим знанием. Меха — это две дощечки и шкура. Это можно сделать за день. Я знал, как они устроены, и даже знал, что клапан можно сделать из куска кожи, прибитого с одного края.

И ровно поэтому не стал ничего говорить.

Во-первых, я тут три дня. Во-вторых, я нанялся таскать уголь. В-третьих, человек, который на третий день начинает учить мастера его ремеслу, получает не благодарность, а то,

что получает.

А в-четвёртых — и вот это главное, — я уже начал понимать, что здешние вещи стоят не там, где мне кажется. Может, у них и были меха. Может, они их пробовали и бросили. Может, у них шкура дороже трёх мальчишек, которые и так есть.

Я решил посмотреть ещё.

С мехами я в итоге оказался прав, и сделал их через год, и не здесь. Но проверял я эту мысль полгода, и это, наверное, единственное разумное, что я сделал в Алланде.

***

Плавку я увидел на второй день.

Она идёт долго и выглядит скучно, и это самое обидное: ты ждёшь чуда, а видишь яму, дым и трёх мужиков, которые дуют в трубки, и всё это часами.

А потом Маханду щипцами вытаскивает тигель, и в нём на дне лежит лепёшка.

Она красная. Не «красноватая», а красная, и на вечернем свете она была такая, что двое мальчишек, которые видят это каждую неделю, всё равно подошли посмотреть.

Первый раз я стоял и смотрел вместе со всеми, как дурак.

А на третий день я начал считать — потому что я всегда считаю, и потому что к третьему дню чудо кончилось и осталась арифметика.

Считал я уголь.

За три дня Маханду сделал шесть лепёшек. Каждая — с

ладонь, толщиной в палец. Шесть лепёшек это, на мой глаз, килограмма четыре с небольшим меди.

Угля на это ушло: я считал корзины, потому что корзины таскал сам. Пятьдесят две корзины за три дня, из них на плавку — сорок с чем-то, остальное на обжиг и на дом.

Сорок корзин угля на четыре килограмма меди.

А уголь — это дерево. Причём дерево, из которого получается примерно пятая часть по весу, и это я помнил откуда-то из детских книжек про углежогов, и потом убедился, что помнил верно.

Я сел вечером и перевёл это всё на то, что понимаю.

Мои шесть слитков — двадцать килограммов.

Это, если считать по Маханду, двести корзин угля. Это — телеги дров, это склон холма, который рубили и жгли неделями, это работа десятка человек, и это ещё до того, как кто-то полез в гору за зелёным камнем.

Вот тогда я впервые понял, что такое дань в сто сорок четыре обсидиановые пластины.

Это не «они жадные». Это они платят за медь, которую берут выше по реке, и платят тем, что могут отобрать ниже по реке. Вся эта машина, весь этот счёт на узлах, вся эта Стена, вся осень на Саринте, двадцать три покойника, Кассо, Марно, Ниссо с перебитой ногой — всё это стоит на том, что на четыре килограмма красного металла надо сжечь склон холма.

И вот что я понял тогда же, в тот же вечер, и с чем потом

жил.

Я этого не повторю.

Дома нет зелёного камня — я за три месяца излазил остров и знаю его геологию лучше всех живущих на нём. Дома нет леса: весь Саринт не даст и двадцати корзин угля, а после этого на нём не останется ничего, чем топить. Дома нет мастера, который с шести лет умеет дуть в тростинку.

Я могу знать формулу. Я даже помню, что если к меди добавить мышьяк, получится лучше, и что мышьяк бывает в тех же зелёных камнях, и что от него мрут.

Это ничего не меняет.

Между знанием и вещью лежат склон холма, десять человек и двадцать лет.

Вот это, пожалуй, и было главным, что я вывез из Алланды, — хотя вывозить я собирался совсем другое.

***

На третий день у печей обожгло мальчишку.

Того самого, младшего, который с шести лет умеет дуть в тростинку. Он вдвоём со вторым тащил корзину с тем, что вынули из ямы, — белым, лёгким, ещё тёплым камнем, который рассыпается в руках. Они не поделили шаг, корзина качнулась, и ему осыпало голень и ступню.

Он заорал так, что у меня внутри всё перевернулось, — я в этом мире успел привыкнуть, что тут не орут.

Дальше было то, что бывает всегда и везде.

Двое кинулись к нему. Кто-то схватил кувшин с водой.

Женщина от соседнего двора уже несла тряпку, мокрую, чтобы приложить.

Я бросил корзину и пошёл через двор.

Я успел, и это единственное, чем я в Алланде могу гордиться.

Я отвёл руку с кувшином — грубо, за запястье, как отводят, когда некогда объяснять, — и сделал то, что надо делать первым: сухой тряпкой, со всей возможной быстротой, смахнул с кожи то, что на ней лежало. Всё. Потом ещё раз. Потом рукой, через тряпку, счистил из складки между пальцами.

И только после этого показал на кувшин: лей. Много. Долго.

Они лили, наверное, минут двадцать, сменяя друг друга, потому что я не давал остановиться — держал мальчишкину ногу и мотал головой каждый раз, когда кувшин отводили.

Объяснить, почему нельзя было сразу плеснуть из кувшина, я не мог.

У меня не было слов ни для «щёлочи», ни для «реакции», ни даже для «жжёт сильнее». Я знал одно: этот камень гасится водой и при этом греется, а на ноге у мальчишки он уже лежал в поту. Плеснуть на него полкувшина и отойти — значит погасить его прямо на коже, медленно и горячо.

Сначала убрать всё, что лежит. И только потом лить — много и не останавливаясь.

Это нам читали на тактической медицине, на втором курсе, и не из доброты: на кораблях и в доках химический ожог

— вещь обычная.

Мальчишка к вечеру спал.

Нога у него была красная, в двух местах слезла кожа, но это была ожоговая краснота, а не то, что я видел один раз в жизни и не хочу вспоминать.

А Маханду весь вечер на меня смотрел.

Не благодарил. Смотрел — иначе, чем утром, и вечером подсел ко мне сам, и это был тот самый вечер, когда он начал рассказывать про зелёный камень.

Вот, собственно, как это работает. Три дня я таскал уголь и был безобидным дураком, стоящим над ямой. Полторы минуты с чужой ногой — и со мной начали разговаривать.

Причём ровно то же самое я полтора месяца делал на Саринте, и там это заняло не полторы минуты, а три недели, и стоило мне вдвое дороже.

***

На третий день Маханду стал разговорчив.

Мы сидели в тени между плавками, он ел лепёшку с кислым молоком, я ел то же самое, и он вдруг начал рассказывать — сам, без вопроса, как рассказывают человеку, который уже три дня таскает твой уголь и ничего не украл.

Он рассказывал, откуда идёт камень.

Не отсюда. Здесь только жгут. Зелёный камень привозят сверху, и не с реки, а из-за гряды — он показал рукой на восток и назвал место, которого я не разобрал, и добавил, что туда ходят не всякие, потому что дорога через земли, где…

Его позвали.

Позвали от печи — что-то у них там пошло не так, — и он встал, вытирая руки о штаны, и сказал мне через плечо ещё полфразы, которую я не понял, и ушёл.

Я сидел с недоеденной лепёшкой и понимал, что упустил.

Я потом ещё дважды пытался вернуть его к этому разговору, и оба раза он отвечал что-то короткое и общее, как отвечает человек, который уже сказал больше, чем собирался, и сам это заметил.

До конца он мне это рассказал через год, при обстоятельствах, которых ни он, ни я себе тогда не представляли.

***

А теперь про яму.

Она была в двадцати шагах от плавильной, у соседнего двора, и первые полтора дня я на неё не смотрел вообще, потому что смотрел на медь.

Обычная яма. В ней жгли белый камень.

Я это заметил, когда носил уголь: часть корзин шла не к тиглям, а туда, к соседям, и там, в такой же яме, только шире и без трубок, слоями лежали уголь и камень, уголь и камень, и это горело сутками, лениво, без всякого чуда.

Белый камень.

Я поднял кусок, повертел и понял, что это известняк, — и в ту же секунду у меня внутри что-то щёлкнуло, как щёлкает, когда в темноте нашаришь нужный предмет.

Дальше я стоял над ямой полчаса.

Я не преувеличиваю: полчаса, с корзиной в руках, забыв про корзину. Мимо ходили люди. Мальчишка что-то сказал и засмеялся. Потом пришёл Маханду, посмотрел на меня, посмотрел в яму, где ничего не происходило, снова на меня — и захохотал, и хлопнул по плечу, и с этого дня относился ко мне заметно теплее.

Я понял позже, что он решил: чужак дурак.

Безобидный, работящий, не вор — и с придурью. Стоит над ямой с белым камнем, как баран.

С дураком спокойнее. Дурака не боятся.

Я за эти полчаса увидел вот что.

Из ямы вынимали то, что осталось от камня, — лёгкое, рыхлое, белое. Его ссыпали в корыто и заливали водой.

Вода закипала.

Без огня. Я знал, почему она кипит, и всё равно у меня по спине прошло: корыто шипело, парило, там что-то трещало, и двое работников отходили на два шага и ждали, и держались с наветренной стороны — не потому, что боялись пара, а потому, что знали.

Через день в корыте была белая каша.

Её вычерпывали и складывали в питту. Полную питту закрывали — но не так, как закрывают зерно.

Сверху, поверх каши, наливали воду. Ладони на две. И только потом замазывали крышку.

Вот здесь я перестал дышать, если честно.

Потому что я это уже видел.

***

Мне было лет девятнадцать, и мать затеяла ремонт.

В той квартире в Пскове, где на кухне стояла клеёнка в цветочек, а на столе когда-то лежал отцовский ключ. Отца к тому времени уже не было. Мать наняла двух мужиков — соседкиных знакомых, конечно, — и они штукатурили.

И у них во дворе, в старой ванне, лежало тесто.

Белое, жирное, похожее на очень густую сметану, и сверху налит слой воды. И когда я, умный студент, спросил, зачем вода, мне ответили лениво и снисходительно, как отвечают тому, кто мешает работать:

«Чтоб не задохлось».

Тогда я пропустил это мимо ушей. Потом, уже на службе, я видел то же самое в яме у строителей в Полярном: щиты, вода сверху, и известь лежит там с прошлого года и становится только лучше.

И вот я стою на чужом берегу, за четыре с половиной тысячи лет от той ванны, и смотрю, как в питту наливают воду поверх белой каши, чтобы не задохлось.

Оно не портится.

Вот что это значит, и вот почему я перестал дышать.

Медь я увезти не могу — то есть увезти-то могу, но повторить не могу никогда.

А это — могу.

Это не требует ни руды, ни угля, ни мастера. Белый камень на Саринте есть; на Саринте вообще почти ничего нет, кроме

белого камня. Дрова — да, это проблема, это надо считать отдельно, и я её потом считал полгода и решал уже дома.

Но главное — эту кашу можно **довезти**.

Не в голове, не на словах, не в виде «я знаю как». В сосуде. С водой сверху, под замазанной крышкой. Она доедет через море, простоит зиму и будет живая.

Я в тот вечер сидел и считал, сколько питт влезет в лодку.

***

Объяснить это Маханду я попробовал на третий день.

И вот это была одна из самых унизительных попыток разговора в моей жизни, а у меня их было немало.

Я начал с того, что попросил Тиссу подойти, потому что без неё не вытяну. Спросил, можно ли купить питту с готовым тестом.

Маханду удивился. Спросил зачем.

Я сказал — через Тиссу, — что хочу обмазать яму. Чтобы держать воду.

Он не понял.

Мы потратили минут пятнадцать. Я рисовал на земле яму. Я рисовал дождь. Я показывал, как вода уходит в песок, и как не уходит, если обмазано. Тисса переводила честно и старательно, и с каждой минутой ей всё больше не нравилось, как я выгляжу.

Маханду смотрел на мой рисунок, потом на меня, потом на реку.

Река была в сорока шагах.

Он показал на неё рукой.

И сказал — а Тисса перевела дословно, и я до сих пор слышу её интонацию, — сказал:

— Вода вон.

И засмеялся, и ушёл к печи, и по дороге что-то крикнул своим, и те тоже засмеялись.

Понимаете, в чём штука.

Я пытался объяснить человеку, живущему в сорока шагах от реки, которая течёт круглый год, зачем нужна яма, которая держит воду.

Для него это было не «сложная мысль». Для него это было «зачем обмазывать сосуд, чтобы носить в нём воздух».

Я ушёл, сел у стены и минут пять честно и довольно зло думал о том, что я идиот.

Не потому, что он не понял. А потому, что я три дня носил уголь и считал корзины, вместо того чтобы сделать простую вещь: спросить не «зачем мне это», а «сколько стоит».

Продают-то они это тесто всем подряд. Для полов, для обмазки, для сосудов. Это не тайна, не редкость и не чудо. Это товар — дешёвый, тяжёлый и никому не интересный.

А я полез объяснять зачем.

К соседу я пошёл на следующее утро и на этот раз ничего не объяснял.

Сосед был сухой, молчаливый, полная противоположность Маханду: он жёг белый камень и, кажется, за двадцать лет не сказал лишнего слова. Я подошёл, показал на зама-

занную питту и спросил одно:

— Сколько?

Он посмотрел на меня без всякого интереса и назвал.

Я не понял чисел и позвал Тиссу, и она переспросила, и оказалось вот что.

Питта готового теста стоила дёшево. Настолько дёшево, что я переспросил дважды и заставил Тиссу уточнить, не о черепках ли речь. Три питты шли за козу. Семь — за козу и мешок гороха, и он ещё подумал бы.

Это был самый дешёвый товар, который я видел на этом берегу.

Тяжёлый, тупой, никому не нужный: его берут те, кто мажет полы, и те, кто мажет сосуды изнутри, и берут понемногу, потому что больше не надо.

А мне нужно было понять одно, и это одно я спросил отдельно.

Долго ли стоит.

Он не понял. Тисса объяснила иначе: если закрыть и не трогать — сколько пройдёт, прежде чем испортится?

Сосед пожал плечами и ответил так, как отвечают на глупость.

Он сказал, что у него в углу стоит питта, которую замазал ещё его отец.

Я спросил, когда.

Он посмотрел на меня, подумал, сказал что-то, чего Тисса не поняла, потом показал рукой рост ребёнка, потом свой,

потом что-то ещё — и в этот момент от печи его окликнули, и он пошёл.

Я так и не выяснил, сколько именно лет стоит та питта.

Я выяснил другое, и мне этого хватило: у человека, который жжёт известь всю жизнь, в углу сарая стоит отцовская, и он про неё помнит.

***

«Товарищи курсанты. Худшее, что вы можете сделать в чужом месте, — начать объяснять, кто вы и что вам нужно. Вас об этом не спрашивали. Человек, который объясняет, всегда выглядит хуже, чем человек, который покупает».

Это было не на полигоне и не в аудитории. Это Гуляев сказал на практике, на четвёртом курсе, сидя на ящике в чужом порту, где мы ждали катер, и от скуки он рассказывал, как работают с местными.

Я это вспомнил ровно на сутки позже, чем надо было.

***

Тисса эти три дня ходила на рынок.

Я сначала не придал значения. Аллива дала ей две пригоршни чего-то мелкого — не знаю чего, какие-то сушёные ягоды, — и сказала, куда идти, и Тисса пошла.

Вечером она принесла еду.

Не то чтобы много: лепёшки, лук, кусок солёной рыбы, горсть чего-то жёлтого, что оказалось горохом. Но она принесла это на всех, четверых, и на следующий день опять, и на третий тоже.

На третий вечер я спросил, откуда.

Она объяснила. Я слушал и не сразу понял, что слушаю схему.

Она носила воду.

На рынке в Алланде торгуют весь день на солнце, и у торговок нет времени отойти, и воду им носят мальчишки за мелочь. Она пристроилась к этому в первый же день — не к мальчишкам, а рядом: стала носить воду двум женщинам, торгующим рыбой, и за это брала не мелочью, а рыбой, которая к вечеру всё равно не продастся.

А потом эту рыбу меняла на лепёшки у женщины, которая печёт и которой некогда идти за рыбой.

Три перехода — и на четвёртый день она знала половину рынка, а половина рынка знала её.

Я сидел и слушал, как двадцатилетняя женщина с острова, где сто восемьдесят три человека, за три дня выстроила себе цепочку в чужом городе на чужом языке, — и понимал, что я эти три дня таскал корзины с углём и заработал место в лодке, которое мне и так были готовы дать.

— Ты молодец, — сказал я.

Сказал, как умел: на своих четырёхстах словах, коротко, без выражения, потому что выражение я на этом языке передать не мог.

И увидел, как у неё меняется лицо.

Не обрадовалась. Наоборот: что-то в ней закрылось, будто дверь притворили.

Она кивнула, сказала «ха» — «да», — забрала пустую миску и ушла к очагу.

Я сидел и не понимал, что сделал не так.

Я думал об этом потом много раз и, кажется, понял только зимой. «Ты молодец» — это то, что говорят человеку, от которого не ждали. Похвала сверху вниз: вот как ты, оказывается, умеешь.

А она не показывала фокус. Она кормила нас четверых, потому что кормить было больше некому.

Тут не хвалить надо было.

Тут надо было сказать спасибо — и сесть чистить лук.

***

Вечерами Аллива учила Тиссу.

Не нарочно — просто она говорила с ней, пока готовила, и Тисса отвечала, и Аллива поправляла: одно слово, другое, третье. Я лежал у стены, делал вид, что сплю, и слушал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.